

Владимир Набоков

Волшебник. Solus Rex

«Волшебник»

Copyright © 1986, Dmitri Nabokov

All rights reserved

«Solus Rex»

First published in 1940, 1942.

Copyright © 1995, 2002, 2006, 2008, Dmitri Nabokov

All rights reserved

© А. Баби́ков, составление, редакторская заметка, примечания,  
перевод, статья, 2022

© А. Бондаренко, Д. Черногаев, художественное оформление, макет,  
2022

© 000 «Издательство Аст», 2022

Издательство CORPUS ®

От редактора

В 1956 г. в послесловии к «Лолите» Набоков вспоминал:

Первая маленькая пульсация «Лолиты» пробежала во мне в конце 1939–го или в начале 1940–го года, в Париже, на рю Буало, в то время, как меня пригвоздил к постели серьезный приступ межреберной невралгии. Насколько помню, начальный озноб вдохновения был каким–то образом связан с газетной статейкой об обезьяне в парижском зоопарке, которая, после многих недель улещиванья со стороны какого–то ученого, набросала углем первый рисунок, когда–либо исполненный животным: набросок изображал решетку клетки, в которой бедный зверь был заключен. Толчок не связан был тематически с последующим ходом мыслей, результатом которого, однако, явился прототип настоящей книги: рассказ, озаглавленный «Волшебник», в тридцать, что ли, страниц. Я написал его по–русски, т. е. на том языке, на котором я

писал романы с 1924-го года (все они запрещены по политическим причинам в России). Героя звали Артур, он был среднеевропеец, безымянная нимфетка была француженка, и дело происходило в Париже и Провансе. Он у меня женился на больной матери девочки, скоро овдовел и после неудачной попытки приласкаться к сиротке в отельном номере бросился под колеса грузовика. В одну из тех военного времени ночей, когда парижане затемняли свет ламп синей бумагой, я прочел мой рассказ маленькой группе друзей. Моими слушателями были М. А. Алданов, И. И. Фондаминский, В. М. Зензинов и женщина-врач Коган-Бернштейн; но вещицей я был недоволен и уничтожил ее после переезда в Америку, в 1940-ом году [1].

Это воспоминание оказалось неверным в нескольких важных отношениях. Прежде всего, неудовлетворенность новым сочинением не помешала Набокову еще до отъезда в Америку предпринять попытки его опубликовать, что следует из частично сохранившегося недатированного письма главы издательства «Петрополис» А. С. Кагана, относящегося к концу 1939 г.:

Господину В. В. Набокову, Париж

Подтверждаю получение Вашег<о> <утрачено одно или два слова> письма.

Я не отказался от мысли издать Ваш роман «Дар». Война меня, правда, выбила из колеи, но я не прерывал своей издательской деятельности и Ваша книга у меня на очереди. Давайте еще только немного придти в себя. Рукопись Ваша у меня в полной сохранности.

Ваш рассказ в стиле Боккаччо-Аретино меня интересует. Может быть, что-либо и можно предпринять. Пришлите его мне. Мой адрес неизменно тот же. <...>

<Сердечный привет> Вере Евсеевне.

Преданный Вам.

<Подпись:> А. Каган [2]

Упоминание Боккаччо подразумевает эротические новеллы из его «Декамерона», подпавшие под церковную цензуру; с именем Пьетро Аретино (1492–1556) связана скандальная история публикации его «Сладострастных сонетов» в альбоме гравюр непристойного характера.

Рукопись повести, по всей видимости, действительно была уничтожена, однако ее машинописная копия (с правками и вставками рукой Набокова и с указанием времени и места написания: «Париж. Октябрь–ноябрь 1939 г.») сбереглась и была случайно найдена Набоковым в феврале 1959 г.,

о чем он сообщил президенту издательства «G. P. Putnam's Sons» Уолтеру Мintonу:

Как я пояснил в своем эссе, приложенном к «Лолите», осенью 1939 года я написал в Париже повесть, своего рода прото-«Лолиту». Я был уверен, что давно уничтожил ее, однако сегодня, собирая с Верой дополнительные материалы для передачи в Библиотеку Конгресса США, обнаружилась единственная копия этого сочинения. Моим первым побуждением было отправить его (и пачку карточек с неиспользованными в «Лолите» заметками) в Библиотеку Конгресса, но потом мне пришло на ум другое.

Сочинение под названием «Волшебник» написано по-русски, пятьдесят пять машинописных страниц. Теперь, когда моя творческая связь с «Лолитой» разорвана, я перечитал «Волшебника» со значительно большим удовольствием, чем испытывал, вспоминая его как мертвый обрывок во время работы над «Лолитой». Это прекрасный образец русской прозы, точной и ясной, и с соблюдением некоторых предосторожностей Набоковы могли бы перевести его на английский [3].

Эта идея Мintonа не увлекла, и при жизни Набокова ни русское издание, ни публикация английского перевода «Волшебника» не состоялись. Отрывок из повести, в английском переводе, впервые опубликовал Э. Филд в книге «Набоков. Его жизнь в искусстве» (1967) [4]. Ни один персонаж в «Волшебнике», кроме прислуги Марии, не назван по имени, нет и определенных указаний на место и время действия повести; однако Филд, не прочитав, по-видимому, всей повести, утверждал, что герой в ней назван Артуром и что повествование берет начало в саду Тюильри.

По позднему воспоминанию эмигрантского критика В. В. Вейдле, Набоков в 1939 г. в Париже дал ему прочитать рукопись рассказа, содержание которого было близко «Волшебнику», однако в некоторых отношениях существенно отличалось от него:

«...» заглавие мне помнится другое: не «Волшебник» «...», а – весьма отчетливо – «Сатир». Жалею, что, прочитав книгу Филда, я об этом не запросил Набокова, и с горечью говорю: «Теперь уж поздно» «...» Вопрос состоит в том, не читал ли я версию еще более раннюю, чем та, что поступила в распоряжение Филда и была озаглавлена по-новому; а интересно было бы узнать ответ на него прежде всего из-за одной подробности, которая незначительной может показаться лишь при самом крайнем верхоглядстве. Я говорю о возрасте той девочки, которая впоследствии названа была Лолитой.

Лолите в начале романа двенадцать (с несколькими месяцами) лет. «...» Девочку-француженку в «Волшебнике» и Филд, и сам Набоков называют двенадцатилетней «...» Не помню, безымянной ли была девочка в рассказе «Сатир», но твердо помню, что девочке этой было не более десяти лет, что совсем неосведомлена была она по части женско-мужских дел, оставалась невиннейшим ребенком. Герою того рассказа именно такие девочки и нравились. Первая глава показывала нам его в Париже, но не

в Тюльрийском саду, как «волшебника», а в несуществующем нынче, но тогда существовавшем сквере между Сеной и церковью Сен-Жерве.

Сидит он там на скамейке и с вожделием посматривает не на грациозную конькобежицу (на роликах), как «волшебник», а на девочек куда помоложе, с ведерками и совками, играющих на песочке. Описано было это подсматриванье с редким мастерством, так что если интенсивность описания ценить прежде всего, то лишь финал мог соперничать с этой увертюрой. Финал был катастрофичен – и до крайности неприличен; но катастрофой как раз и уравнивалось это неприличие, – с точки зрения морали, как и с точки зрения искусства. Возвращая рукопись Набокову, я именно финал этот всего горячей и хвалил, заметив в то же время, что ни один русский журнал (я думал в первую очередь о «Современных записках») последней страницы рассказа не напечатает. Он с этим не спорил, но и не сказал мне, что одному из редакторов «Записок» он свой рассказ уже читал. Прочел ли он Илье Исидоровичу <Фонадминскому> и его друзьям – несколько позже – уже «Волшебника», а не «Сатира», и была ли новая версия последней страницы менее непристойно реалистична, чем первая, не знаю. <...> Слова Набокова о неудачной попытке «приласкаться к сиротке» ни о каких изменениях кривой усмешкой своей не оповещают, тем более что заключительная катастрофа в «Волшебнике» оставалась той же, что и в «Сатире». О ней сообщали три последние строчки. О судьбе девочки не сообщалось ничего.

<...> В результате женитьбы «среднеевропейца Артура» на слабого здоровья вдове, француженке, и заранее им учтенной ее кончины, он получает в полную свою власть ее дочку, уже успевшую по-дочернему привязаться к нему. Он везет ее, как мне помнится, не на юг Франции, а в Швейцарию, останавливается в отдаленной от населенных мест гостинице, и когда утомленная дорогой девочка, прикорнув на двуспальной кровати, начинает засыпать, приступает к выполнению давнего своего замысла: пытается всерьез «приласкаться к сиротке». Та отбрыкивается, ничего не понимает, плачет, кричит... получается не то, что нужно. Он в бешенстве накидывает халат на склизко запачканную пижаму, выбегает из комнаты, выбегает из гостиницы на большую дорогу. Его давит проносящийся мимо автокар или грузовик[5].

Приведенные сведения позволяют предположить, что Набоков, как ему помнилось в 50-х гг. и о чем он писал в послесловии к «Лолите», уничтожил все рукописные и машинописные экземпляры первой версии «Волшебника» (рассказа в тридцать страниц), в которой герой был назван Артуром и которая была озаглавлена созвучным с этим именем словом «сатир». Посылал ли он Кагану в «Петрополис» первый или уже второй вариант рискованного сочинения, получил ли он ответ – неизвестно (примечательно, однако, что Каган называет произведение рассказом, а не повестью). Убедившись в том, что опубликовать «Сатира» невозможно, Набоков переписал его (предположительно расширив) и сохранил машинописную копию нового произведения, которую случайно обнаружил двадцать лет спустя.

Повесть перевел на английский язык и опубликовал в 1986 г. Дмитрий

Набоков; оригинальный текст (напечатанный по правилам новой орфографии, с сохранением некоторых особенностей правописания Набокова) был напечатан в 1991 г. в издававшемся «Ардисом» альманахе «Russian Literature Triquarterly» (№ 24) со следующим примечанием Д. Набокова: «Тем двуязычным читателям, которые бы захотели сравнить русский текст с моим английским переводом, следует помнить, что первое американское издание (в твердом переплете, изд-во Putnam, 1986) содержало некоторые ошибки и пропуски, которые были исправлены в дальнейших английских изданиях и в большинстве переводов на другие языки».

В настоящем издании «Волшебник» печатается по этой публикации с уточнениями по архивному машинописному тексту[6].

По-своему не менее запутана история создания и публикации последнего русского романа Набокова «Solus Rex». В январе 1939 г. в Париже Набоков закончил свой первый английский роман «The Real Life of Sebastian Knight» («Истинная жизнь Севастьяна Найта»[7]), а два месяца спустя Н. Берберова упомянула о его новом романе в письме к И. Бунину (от 30 марта 1939 г.): «Видаюсь с Сириным и его сыном (и женой). <...> Живется им трудно и как-то отчаянно. Пишет он “роман призрака” (так он мне сказал). Что-то будет!»[8]

При известном угле зрения в предисловии Набокова к английскому переводу двух глав из «Solus Rex» можно усмотреть указание на то, что действиями героев в ней руководит «призрак» – покойная жена Синеусова. В разговоре с Берберовой Набоков дал своей новой книге, по-видимому, не сюжетную, а жанровую характеристику, поскольку «роман призрака» – это, конечно, русский эквивалент английского понятия «ghost story», которому вполне отвечает замысел «Solus Rex».

Часть нового романа (глава вторая, согласно позднему указанию Набокова) вышла в последнем (семидесятом) номере парижских «Современных записок» в марте 1940 г. (В. Сиринь. Solus Rex. Романъ. С. 5–36). Второй и последний отрывок (глава первая) был опубликован уже после переезда Набокова в Америку в «Новом журнале» (Нью-Йорк) в январе 1942 г. (В. Набоков–Сирин. Ultima Thule. С. 49–77). Посылая рукопись М. А. Алданову, редактору «Нового журнала», Набоков сообщил следующее:

Понедельник

2 часа утра

Дорогой Марк Александрович,

посылаю Вам «статью», как говорил некто Арбатов, который все называл «статьей», будь то рассказ, или кусок романа, или даже стихи. Простите, что задержал, – я добыл машинку только в субботу.

Я не пометил на манускрипте, но хорошо бы сделать сноску, как бывало:

Отрывок из романа «Solus Rex», начало которого см. в [последнем, –

каком именно?] № Современ.<енных> Зап.<исок>

Буква «ъ» не вытанцовывалась у жены на этой незнакомой машинке, а потому есть риск, что французские слова «Раон» и «Воп», встречающиеся в манускр.<ипте,> наберут русскими буквами. Не знаю, как отметить их латинство.

Я решился осалтыковать мою подпись. Хочу непременно держать корректуру. Кажется, эта вещьца самая отталкивающая из всего, что я до сих пор печатал, правда?

Ваш В. Набоков [9]

Замечание Набокова о «вещице» относится, по-видимому, ко всему роману, в первом (по времени публикации) отрывке которого редактор «Современных записок» счел непристойными и изъял два фрагмента. Алданов ответил 5 ноября:

Сегодня получили Вашу рукопись и сегодня же сдали ее в набор. Сердечно Вас благодарю: отрывок превосходный. <...> Очень ли Вы настаиваете на сноске: отрывок и т. д.? Если не очень, я предпочел бы сноски не помещать: причины Вы угадываете [10].

Алданов, судя по всему, имел в виду, что новая самостоятельная вещь лучше бы отвечала первому номеру только что учрежденного журнала, чем отрывок из сочинения, уже частично напечатанного в другом журнале. «Ultima Thule» вышла без предложенного Набоковым примечания. Нет упоминания о романе и в повторной публикации «Ultima Thule» в сборнике «Весна в Фиальте» (1956), в котором под отрывком указано лишь: «Париж, 1939 г.» [11]. Эта дата соответствует хронологии публикации двух отрывков романа, изложенной в примечании Набокова к их английскому переводу.

Нарушение порядка публикации глав в двух разных журналах могло быть следствием того, что вторая глава ко времени сбора материала для последнего номера «Современных записок» была готова к публикации, а первая – «Ultima Thule» – нет. Набоков знал, какой ценой и в каких условиях В. В. Руднев составлял этот номер «Записок» (о встрече с ним незадолго до своего отъезда в США он рассказал в интервью нью-йоркской газете «Новое русское слово» 23 июня 1940 г.), и понимал, что готовую часть романа в скором времени напечатать не удастся. Подтверждением этому служит и отсутствие в парижской публикации «Solus Rex» указания номера главы, и схожая ситуация с публикацией в «Современных записках» «Дара», когда Набоков вместо второй главы прислал Рудневу четвертую, поскольку вторая требовала доработки. Из интервью Набокова «Новому русскому слову» следует, что в июне 1940 г. он еще надеялся закончить «Solus Rex»: «Роман “Дар” в течение двух лет печатался в “Современных Записках” и “Солюс Рекс” (Одинокий король) только начался в этом журнале, прекратившемся из-за войны»; Набоков в Нью-Йорке «заканчивает “Солюс Рекс”» [12]. О том же Набоков

писал Э. Уилсону 29 апреля 1941 г.: «<...> я покинул Европу на середине обширного русского романа, который скоро начнет сочиться из какой-нибудь части моего тела, если продолжу держать его внутри»[13]. Две опубликованные главы «Solus Rex» можно считать если не половиной, то, во всяком случае, значительной частью новой книги, в скорое завершение которой Набоков еще верил летом 1940 г. (о чем он сказал репортеру газеты). Весной следующего года эта работа была отложена, а затем и вовсе прекращена из-за решения Набокова окончательно перейти на английский язык. Историю Адама Фальтера, героя «Solus Rex», Набоков предполагал использовать во второй части «Дара» (Фальтер упоминается в рукописи продолжения романа), однако этот замысел также остался невоплощенным[14].

Первая (по времени публикации) часть романа печатается по тексту «Современных записок» с восстановлением по рукописным вставкам Набокова двух исключенных фрагментов. Вторая часть печатается по тексту сборника рассказов «“Весна в Фиальте” и другие рассказы» (Нью-Йорк: Издательство имени Чехова, 1956)[15].

Волшебник

Повесть

«Как мне объясниться с собой? – думалось ему, покуда думалось. – Ведь это не блуд. Грубый разврат всеяден; тонкий предполагает пресыщение. Но если и было у меня пять-шесть нормальных романов, что бледная случайность их по сравнению с моим единственным пламенем? Так как же? Не математика же восточного сластолюбия: нежность добычи обратно пропорциональна возрасту. О нет, это для меня не степень общего, а нечто совершенно отдельное от общего; не более драгоценное, а бесценное. Что же тогда? Болезнь, преступность? Но совместимы ли с ними совесть и стыд, щепетильность и страх, власть над собой и чувствительность, – ибо и в мыслях допустить не могу, что причину боль или вызову забываемое отвращение. Вздор, – я не растлитель. В тех ограничениях, которые ставлю мечтанию, в тех масках, которые придумываю ему, когда, в условиях действительности, воображаю незаметнейший метод удовлетворения страсти, есть спасительная софистика. Я карманный вор, а не взломщик. Хотя, может быть, на круглом острове, с маленькой Пятницей... (не просто безопасность, а права одичания, или это – порочный круг, с пальмой в центре?). Рассудком зная, что евфратский[16] абрикос вреден только в консервах; что грех неотторжим от гражданского быта; что у всех гигиен есть свои гиены; зная, кроме того, что этот самый рассудок не прочь опозлать то, что иначе ему не дается... Сбрасываю и поднимаюсь выше. Что, если прекрасное именно-то и доступно сквозь тонкую оболочку, то есть пока она еще не затвердела, не заросла, не утратила аромата и мерцания, через которые проникаешь к дрожащей звезде прекрасного? Ведь даже и в этих пределах я изысканно

разборчив: далеко не всякая школьница привлекает меня, – сколько их на серой утренней улице, плотненьких, жиденьких, в бисере прыщиков или в очках, – такие мне столь же интересны в рассуждении любовном, как иному – сырая женщина–друг. Вообще же, независимо от особого чувства, мне хорошо со всякими детьми, по–простому, – знаю, был бы страстным отцом в ходячем образе слова, и вот, до сих пор не могу решить, естественное ли это дополнение или бесовское противоречие. Тут взываю к закону степени, который отверг там, где он был оскорбителен: часто пытался я поймать себя на переходе от одного вида нежности к другому, от простого к особому, – очень хотелось бы знать, вытесняют ли они друг друга, надо ли все–таки разводить их по разным родам, или то – редкое цветение этого в Иванову ночь моей темной души, – потому что, если их два, значит, есть две красоты, и тогда приглашенная эстетика шумно садится между двух стульев (судьба всякого дуализма). Зато обратный путь, от особого к простому, мне немного яснее: первое как бы вычитается в минуту его утоления, и это указывало бы на действительность однородной суммы чувств – если бы была тут действительна применимость арифметических правил. Странно, странно, – и страннее всего, что, быть может, под видом обсуждения диковинки я только стараюсь добиться оправдания вины».

Так приблизительно возилась в нем мысль. По счастью, у него была тонкая и довольно прибыльная профессия, охлаждающая ум, утоляющая осязание, питающая зрение яркой точкой на черном бархате – тут были и цифры, и цвета, и целые хрустальные системы, – и случалось, что месяцами воображение сидело на цепи, едва цепью позванивая. Кроме того, к сорока годам, довольно намучившись бесплодным самосожжением, он научился тоску регулировать и лицемерно примирился с мыслью, что только счастливейшее стечение обстоятельств, нечаяннейшая сдача судьбы может изредка составить минутное подобие невозможного. Он берег в памяти эти немногие минуты с печальной благодарностью (все–таки – милость) и печальной усмешкой (все–таки – жизнь обманул). Так, еще в политехнические годы, натаскивая по элементарной геометрии младшую сестру товарища – сонную, бледненькую, с бархатным взглядом и двумя черными косицами, – он ни разу к ней не притронулся, но одной близости ее шерстяного платья было достаточно, чтобы линии начинали дрожать и таять, все передвигалось в другое измерение тайной упругой трусцой – и снова был твердый стул, лампа, пишущая гимназистка. Остальные удачи были в таком же лаконическом роде: егоза с локоном на глазу, в кожаном кабинете, где он дожидался ее отца, – колотьба в груди, – «а щекотки боишься?», – или та, другая, с пряничными лопатками, показывавшая ему в перечеркнутом углу солнечного двора черный салат, жевавший зеленого кролика. Жалкие, торопливые минуты, с годами ходьбы и сыска между ними, но и за каждую такую он готов был заплатить любую цену (посредниц, впрочем, просил не беспокоиться), и, вспоминая этих редчайших маленьких любовниц, инкуба[17] так и не заметивших, он поражался своему таинственному неведению об их дальнейшей судьбе; а зато сколько раз на бедном лугу, в грубом автобусе, на приморском песочке, годном лишь для питания песочных часов, быстрый, угрюмый выбор ему изменял, мольбы случай не слушал, и отрада обрывалась беспечным поворотом жизни.

Худощавый, сухогрубый, со слегка лысеющей головой и внимательными

глазами, вот он сел на скамью в городском парке. Июль отменил облака, и через минуту он надел шляпу, которую держал в белых тонкопалых руках. Пауза паука, сердечное затишье.

Слева сидела старая краснолобая брюнетка в трауре, справа – белобрысая женщина с вялыми волосами, деятельно занимавшаяся вязанием. Машинально–проверочным взглядом следя за мельканием детей в цветном мареве, думая о другом, о текущей работе, о пригожей ладности новой обуви, он случайно заметил около каблука крупную, полуущербленную гравинками, никелевую монету. Поднял. Усатая слева ничего не ответила на его естественный вопрос, бесцветная же сказала:

«Спрячьте. Приносит счастье в нечетные дни».

«Почему же только в нечетные?»

«А так говорят у нас, в –».

Она назвала город, где ее собеседник однажды осматривал скульптурную роскошь черной церковки.

«...Мы–то живем по другой стороне речки. Весь склон в плодовых садах, – прекрасно, – и ни пыли, ни шума...»

«Говорлива, – подумал он. – Кажется, придется пересесть».

Но тут–то взвивается занавес.

Девочка в лиловом, двенадцати лет (определял безошибочно), торопливо и твердо переступая роликами, на гравии не катившимися, приподнимая и опуская их с хрустом, японскими шажками приближалась к его скамье сквозь переменное счастье солнца, и впоследствии (поскольку это последствие длилось) ему казалось, что тогда же, тотчас, он оценил ее всю, сверху донизу: оживленность рыжевато–русых кудрей, недавно подровненных, светлость больших, пустоватых глаз, напоминающих чем–то полупрозрачный крыжовник, веселый, теплый цвет лица, розовый рот, чуть приоткрытый, так что чуть опирались два крупных передних зуба о припухлость нижней губы, летнюю окраску оголенных рук с гладкими лисьими волосками вдоль по предплечью, неточную нежность еще узкой, уже не совсем плоской груди, передвиженья юбочных складок, их короткий размах и мягкое впадание, стройность и жар равнодушных ног, грубые ремни роликов.

Она остановилась перед его общительной соседкой, которая, отвернувшись, чтобы покопаться в чем–то лежавшем справа, достала и протянула девочке кусок хлеба с шоколадом. Та, проворно жуя, свободной рукой отцепила ремни – всю эту тяжесть, стальные подошвы на цельных колесиках, – и, сойдя к нам на землю, выпрямившись, с мгновенным ощущением небесной босоты, не сразу принявшей форму туфель, устремилась прочь, то сдерживаясь, то опять раскидывая ступни, – и наконец (вероятно, справившись с хлебом) пустилась вовсю, плеща освобожденными руками, мелькая, мелькая, смешиваясь с родственной игрой света под лилово–зелеными деревьями.

«А дочка у вас, – заметил он бессмысленно, – уже большая».

«0 нет, она мне ничем не приходится, – сказала вязальщица, – у меня своих нет – и не жалею».

Старая в трауре зарыдала и ушла. Вязальщица посмотрела ей вслед и продолжала быстро работать, изредка поправляя молниеносным жестом спадающий хвост шерстяного зародыша. Стоило ли продолжать разговор? У ножки скамьи блестели запятки катков, желтые ремни зияли. Зияние жизни, отчаяние, притом составное, с ближайшим участием всех уже бывших отчаяний, с надбавкой новой, особой громады – нет, оставаться нельзя. Он приподнял шляпу («До свиданья», – ответила вязальщица дружелюбно) и пошел через сквер. Вопреки чувству самосохранения, тайный ветер относил его в сторону, линия его пути, задуманная в виде прямого пересечения, отклонялась вправо, к деревьям, и хотя он по опыту знал, что еще один кинутый взгляд только обострит безнадежную жажду, он совсем повернул в переливающую тень, исподлобья выискивая фиолетовый блик среди инакоцветных. На асфальтовой аллейке все рокотало от роликов, а у края панели шла частная игра в классы, – и, в ожидании своей очереди, отставя ногу, скрестив горячие руки на груди, наклонив мреющую голову, вея страшным каштановым жаром, теряя, теряя лиловое, истлевающее под страшным, неведомым ей взглядом... но еще никогда придаточное предложение его страшной жизни не дополнялось главным, и он прошел, стиснув зубы, ахая про себя и стеная, а затем мельком улыбнулся малышу, который вбежал ему в ножницы ног: «Улыбка рассеянности, – подумал он жалко, – но все-таки ведь рассеянным бывает только человек».

На рассвете, опустив плавник, отложив снулую книгу, он вдруг набросился на себя – почему, дескать, поддался скуке отчаяния, почему не попробовал полностью разговориться, а там и подружиться с этой вязальщицей, шоколадницей, полугувернанткой, – и он вообразил jovialного господина (пока что лишь внутренними органами похожего на него), который таким способом нажил бы возможность – все так же jovialно – на колени к себе забирать эхтышалунью. Он знал, что хотя нелюдим, а находчив, упорчив, умеет понравиться, – в других отраслях жизни ему не раз приходилось выдумывать себе тон или цепко хлопотать, не смущаясь тем, что непосредственный предмет хлопот в лучшем случае находится лишь в косвенном отношении к отдаленной цели. Но когда цель ослепляет, и душит, и сушит гортань, когда здоровый стыд и хилая трусливость сторожат каждый шаг –

Она гремела по асфальту среди других, сильно наклоняясь вперед и в ритм качая опущенными руками, промахивала с уверенной быстротой, ловко поворачивалась, так что перехлест юбки обнажал ляжку, и затем платье прилипало сзади до обозначения выемки, пока с едва заметным влиянием икр она тихо катилась обратным ходом. Вожделением ли было то мучительное чувство, с которым он ее поглощал глазами, любуясь ее разгоряченным лицом, собранностью и совершенством всех ее движений (особенно когда, едва успев оцепенеть, она вновь разбежалась, стремительно сгибая крупные колени), – или это была мука, всегда сопровождающая безнадежную жажду добиться чего-то от красоты,

задержать ее, что-то с ней сделать, – все равно что, но только чтобы войти с ней в такое соприкосновение, которое как-нибудь, все равно как, жажду бы утолило? Что гадать – вот, разбежится еще раз и сгинет, а завтра мелькнет другая, и жизнь так пройдет: вереницей исчезновений.

Ой ли. Он увидел на той же скамье ту же вязальщицу и, чувствуя, что вместо улыбки джентльменского приветствия осклабилась и показал из-под синей губы клык, сел. Стеснение и дрожь в руках длились недолго. Наладился разговор, в самом ведении которого он нашел странную приятность; тяжесть в груди растаяла, ему стало почти весело. Она явилась, хляпая роликами, как вчера. Ее светлые глаза задержались на нем, хотя не он говорил, а вязальщица, и, приняв его, она бездумно отвернулась. Теперь она сидела с ним рядом, держась за край сидения розоватыми, с острыми костяшками, руками, на которых двигалась то жилка, то глубокая лунка у запястья, между тем как сжатые плечи не шевелились, а растущие зрачки провожали чей-то бегущий по гравию мяч. Как вчера, соседка передала ей – мимо него – тартинку, и она слегка застучала рубцеватыми коленками, принимаясь за еду.

«...Здоровее, конечно; а главное – прекрасная гимназия», – говорил далекий голос, как вдруг он заметил, что русокудрая голова слева безмолвно и низко наклонилась над его рукой.

«Вы потеряли стрелки», – сказала девочка.

«Нет, – ответил он, кашлянув, – это так устроено. Редкость».

Она левой рукой наперекрест (в правой торчала тартинка) задержала его кисть, рассматривая пустой, без центра, циферблат, под который стрелки были пущены снизу, выходя на свет только самыми остриями – в виде двух черных капель среди серебристых цифр. Сморщенный листок дрожал у нее в волосах, у самой шеи, над нежным горбом позвонка, – и в течение ближайшей бессонницы он призрак листка все снимал, брал и снимал, двумя, тремя, потом всеми пальцами.

На другой день и в следующие он сидел там опять, по-любительски, но вполне сносно играя одинокого чудака: привычный часок, привычное место. Появления девочки, ее дыхание, ноги, волосы, все, что она делала, – чесала ли она голень, оставляя белые черты, бросала ли высоко в воздух черный мячик, касалась ли голым локтем, присаживаясь на скамейку, – отзывалось в нем (на вид поглощенном приятной беседой) невыносимым ощущением кровной, кожной, многососудной соединенности с ней, словно в ней пульсирующим пунктиром продолжалась чудовищная биссектриса [18], выкачивавшая из его глубины весь сок, или словно эта девочка из него выростала, каждым беспечным движением дергая и будоража свои живые корни, находящиеся в недрах его естества, так что, когда она внезапно меняла позу или кидалась прочь, это было как рывок, как варварская хватка, как мгновенная потеря равновесия: вдруг едешь в пыли на спине, стучаясь теменем, – к повешению наизворот. А между тем он спокойно сидел и слушал, и улыбался, и покачивал головой, и подтягивал на колене штанину, и тростью слегка ковырял гравий, и говорил: «Вот как?» или «Да, знаете, бывает...» – но понимал слова собеседницы только тогда, когда

девочки не было вблизи. Он узнал от этой вдумчивой болтуни, что с матерью девочки, сорокадвухлетней вдовой, она связана пятилетней симпатией – покойный спас честь ее мужа; что весной сего года эта вдова, долго перед тем болевшая, подверглась тяжелой операции кишечника; что давно потеряв всех родных, она крепко ухватилась за дружеское предложение доброй четы; тогда же девочка переселилась к ним в провинцию, теперь привезли ее мать навестить, благо у мужа есть кляузное дельце в столице, но скоро пора возвращаться, – чем скорее, тем лучше, так как присутствие дочки только раздражает редко порядочную, но несколько распутившуюся вдову.

«Слушайте, вы мне, кажется, говорили, что она распродает какую-то мебель?»

Этот вопрос (с продолжением) он составил ночью, задал вполголоса тикающей тишине и, убедившись в его звуковой натуральности, повторил его на другой день своей новой знакомой. Она ответила утвердительно и без обиняков пояснила, что было бы неплохо, кабы та заработала, лечение стоило и будет стоить дорого, денег у больной в обрез, за содержание дочки непременно хотела платить, но делает это неаккуратно, – а мы люди небогатые, – словом, долг чести считался, видимо, уже погашенным.

«Дело в том, – продолжал он без запинки, – что мне как раз не хватает кое-чего в смысле обстановки. Полагаете ли вы, что будет и удобно, и прилично, если я –» – конца фразы он не помнил, но досочинил ее весьма ловко, уже свыкшись с вычурным стилем еще не совсем понятного многокольчатого сна, с которым он так смутно, но так плотно сплелся, что, например, не знал, чье это, что это – часть собственной ноги или часть спрута.

Она якобы обрадовалась и предложила повести его туда хоть сейчас – квартира вдовы, где стояла и она с мужем, была неподалеку, за мостом электрической дороги.

Двинулись. Девочка шла впереди, сильно раскачивая холщовый мешок на шнуре, и уже все в ней было его глазам страшно, неутолимо знакомо – и выгиб узкой спины, и упругость двух кругленьких мышц пониже, и то, как именно натягивались клетки платья (второго, коричневого), когда она поднимала руку, и тонкость щиколок, и довольно высокие каблочки. Немножко замкнутая, пожалуй, – живая скорее в движениях, чем в разговоре, не застенчивая, но и не бойкая, с подводной душой, кажется, но в светлой влаге, опаловая на поверхности и прозрачная на глубине, любящая сладости, щенят, невинный монтаж киножурналов, – и у таких, теплокожих, с рыжинкой, с раскрытыми губами, рано бывает первая уборка, – в общем, игра, кукольная кухня... И не очень счастливое детство, полусиротское – эта твердая женщина добра добротой горького шоколада, а не молочного, ласки в доме не держат, порядок, признаки утомления, дружеская услуга обернулась обузой... И за это за все, за жар щек, за двенадцать пар тонких ребер, за пушок вдоль спины, за дымок души, за глуховатый голос, за ролики и за серый денек, за то неизвестное, что сейчас подумала, неизвестно на что посмотревши с моста... Мешок рубинов, ведро крови – все что угодно...

У дома они встретили небритого мужчину с портфелем – столь же разбитного и серого, как его жена, – так что громко вошли вчетвером. Он ожидал, что увидит изможденную больную в креслах, но вместо этого к нему вышла рослая, бледная, широкобокая дама с безволосой бородавкой у ноздри круглого носа – одно из тех лиц, в описании коих ничего нельзя сказать о губах или глазах, потому что всякое о них упоминание – даже такое! – невольно противоречит их совершенной неприметности. Узнав, что это покупатель, она сразу повела его в столовую, объясняя на тихом и слегка наклоненном ходу, что ей четырех комнат много, что зимой она переедет в две и рада была бы отделаться от этого раздвижного стола, лишних стульев, того дивана в гостиной (когда дослужит ложем для ее друзей), большой этажерки и шкафчика. Он выразил желание ознакомиться с последним из этих предметов, оказавшимся в комнате, занимаемой девочкой, которую они застали валяющейся на кровати и глядящей в потолок – поднятые колени, обхваченные вытянутыми руками, сообща качались, – «Слезь с постели, что это!» – и, поспешно затмив нежность кожи с исподу и клинышек тесных штанишек, она скатилась, а чего только я бы ей не разрешил... Он сказал, что шкафчик покупает – за право входа в дом плата была смехотворная, – и, вероятно, еще кое-что, – но надо сообразить, – если разрешите, я на днях опять загляну и потом уже пришло за всем сразу, вот вам, между прочим, моя визитная карточка. Провожая его, она без улыбки (улыбалась, по-видимому, редко), но вполне приветливо упомянула о том, что приятельница и дочка уже ей про него говорили и что муж приятельницы даже немножко ревнует. «Ну, положим, – сказал тот, выходя в переднюю, – я мою благоверную рад бы сбыть всякому». – «А ты не зарекайся, – сказала жена, появляясь из той же комнаты, – когда-нибудь можешь заплакать!»

«Итак, милости просим, – повторила вдова, – я всегда дома, и, может быть, вас заинтересует лампа или коллекция трубок, это все отличные вещи – жалковато с ними расставаться, но ничего не поделаешь».

«А что же дальше?» – раздумывал он, возвращаясь к себе. До сих пор он действовал ощупью, едва соображая, следуя слепому побуждению, как шахматный игрок, пробирающийся и напирющий туда, где у противника что-то смутно висит или связано. Но дальше? Послезавтра мою душеньку увезут, – значит, прямая выгода от знакомства с матушкой сейчас исключается, – но она приедет опять и, может быть, совсем останется, а к этому времени я буду желанным гостем, – но если та не проживет и года (как намекают), тогда все насмарку, – вид у нее, правда, не слишком дохлый, но если все-таки сляжет и умрет, тогда обстановка и условия жовиальных возможностей вдруг распадутся, тогда кончено, – где разыщу, под каким видом?.. А все-таки чувствовалось: так нужно, и лучше не соображать, а продолжать давить на слабый угол, и потому на другой день он отправился в парк с красивой коробочкой глазированных каштанов и фиалок в сахаре, девочке на дорогу, – рассудок ему твердил, что это лубок, глупость, что сейчас-то как раз и опасно ее отличать откровенным вниманием даже со стороны свободного чудака, тем более, что до сих пор он – совершенно правильно – едва ее замечал (в скрывании молний был мастер), – вот гнилые старички, те – точно, всегда носят при себе карамель для заманивания девчонок, – а все-таки он семенил с подарком, слушаясь

тайного побуждения, которое было талантливее рассудка.

Он целый час просидел на скамейке; они не пришли. Значит, уехали днем раньше. И хотя лишняя одна встреча с ней не могла бы никак облегчить образовавшееся за эту неделю совсем особое бремя, он испытывал жгучую досаду, как если бы стал жертвой измены.

Продолжая не слушаться рассудка, говорившего, что он опять делает не то, он понесся к вдове и купил лампу. Видя, как он странно запыхался, она пригласила его сесть и предложила папиросу. В поисках зажигалки он наткнулся на продолговатую коробку и сказал, как человек в книге:

«Это, быть может, вам покажется странностью, мы так недавно знакомы, но все-таки позвольте презентовать вам этот пустяк, – немножко конфет, кажется, неплохих, – ваше согласие мне доставит большое удовольствие».

Она впервые улыбнулась – была, видимо, более польщена, чем удивлена, – и объяснила, что все лакомства в жизни ей запрещены, – передаст дочке.

«Как! Я думал, что они сегодня –»

«Нет, завтра утром, – продолжала вдова, не без грусти трогая золотую перевязь. – Сегодня моя приятельница, которая страшно ее балует, повела ее на выставку рукоделий», – и, вздохнув, она осторожно, как нечто бьющееся, отложила подарок на соседний столик, – а пресимпатичный гость спрашивал, что ей можно, чего нельзя, и слушал эпопею ее болезни, ссылаясь на варианты и весьма умно толкуя позднейшие искажения текста.

При третьем посещении (пришел предупредить, что перевозчик заедет не раньше пятницы) он пил у нее чай и в свою очередь рассказал о себе, о своей чистой, изящной профессии. У них оказался общий знакомый: брат адвоката, скончавшегося в том же году, что ее муж. Рассудительно, без ложных сожалений, поговорила об этом муже – про которого он уже знал кое-что: был веселым малым, знатоком нотариальных дел, с женой ладил, но старался как можно реже бывать дома.

В четверг он купил диван и два стула, а в субботу зашел за ней, как было условлено, чтоб тихонько погулять в парке; но она скверно себя чувствовала, лежала с грелкой в постели, певуче говорила с ним через дверь, и он попросил угрюмую старуху, периодически появлявшуюся в доме для стряпни и ухода, сообщить ему по такому-то номеру, как больная провела ночь.

Так прошло еще несколько деятельных недель – журчания, вникания, улещивания, интенсивной обработки чужого плавкого одиночества. Теперь он двигался к определенной цели, ибо еще тогда, суя ей конфеты, вдруг понял, какую околицу молчаливо указывал ему странный перст без ногтя (эскиз на заборе) и в чем именно кроется настоящая, ослепительная возможность. Путь был неувлекательный, но и нетрудный,

и достаточно было увидеть непонятно–небрежно брошенное еженедельное письмецо к матери с еще неустойчивым, по–жеребьячи расползающимся почерком, чтобы справиться с любого рода сомнением. Стороной он знал, что она собрала о нем справки, которыми не могла не остаться довольна: чего стоил хотя бы корректный банковский счет. По тому же, с каким религиозным понижением голоса она ему показывала старые твердые фотографии, где в разных, более или менее выгодных позах была снята девушка в ботинках, с круглым приятным лицом, полненьким бюстом и зачесанными со лба волосами (а также свадебные, где неизменно присутствовал жених, весело удивленный, со странно знакомым разрезом глаз), он догадывался, что она тайком обращалась к бледному зеркалу прошлого, чтобы выяснить, чем же могла теперь заслужить мужское внимание – и, должно быть, решила, что зоркому зрению, оценщику граней и игры, все видны следы ее былой миловидности (ею, впрочем, преувеличенной) и станут еще видней после этих обратных смотрин. Чашке чаю, наливаемой ему, она придавала деликатную индивидуальность; в подробнейшие рассказы о своих разнородных недомоганиях ухитрялась вносить столько романтизма, что подмывало спросить что–нибудь грубое; и подчас будто задумывалась, догоняя запоздалым вопросом его крадущуюся речь. Ему было и жалко ее, и противно, но понимая, что материал помимо своего назначения просто не существует, он упрямо продолжал работу, которая сама по себе требовала такой пристальности, что физический облик этой женщины растворился, пропал (если бы встретил ее на улице в другом квартале, не узнал бы) и по отсутствию был кое–как замещен формальными чертами отвлеченной невесты на примелькавшихся снимках (так что все–таки она не ошиблась в своем бедном расчете). Работа спорилась, – и когда в конце осени, дождливым вечером, она безучастно, без единого женского совета, выслушала его неопределенные жалобы на томление холостяка, с завистью глядящего на фрак и дымку чужого венчания и невольно думающего об одинокой могиле в конце одинокого пути, он убедился, что можно звать упаковщиков, – но пока что вздохнул и переменял течение разговора, а через день каково было ее удивление, когда их молчаливое чаепитие (он два раза подходил к окну, словно в каком–то раздумье) было прервано могучим звонком мебельного перевозчика, и вернулись домой два стула, диван, лампа, шкафчик: так решающий задачу сперва отводит иное число, чтоб было сподручнее с нею справиться, и затем возвращает его в лоно решения.

«Вы непонятливы. Это просто значит, что у супругов имущество общее. Другими словами, я предлагаю вам содержимое манжеты и живой туз червей».

Тут же около ходили два мужика, вносящих вещи, и она целомудренно отступила в другую комнату.

«Знаете что, – сказала она, – пойдите и хорошенько выпитесь».

Он, посмеиваясь, хотел взять ее руку в свои, но она заложила ее за спину и упрямо повторяла, что все это вздор.

«Хорошо, – ответил он, вынув горсть монет и отсчитывая на ладони чаевые. – Хорошо, я удалюсь, но в случае вашего согласия извольте

мне дать знать, а иначе можете не беспокоиться, – от моего присутствия я вас избавлю навеки».

«Обождите. Пускай они сначала уйдут. Вы избираете странные минуты для таких разговоров».

«Теперь сядем и потолкуем, – через минуту заговорила она, тяжело и смиренно присев на вернувшийся диван (а он – с нею рядом, в профиль, подложив под себя ногу и держа себя сбоку за шнурок башмака). – Прежде всего... Прежде всего, мой друг, я, как вы знаете, больная, тяжело больная женщина; вот уже года два, как жить значит для меня лечиться; операция, которую я перенесла двадцать пятого апреля, по всей вероятности, предпоследняя, – иначе говоря, в следующий раз меня из больницы повезут на кладбище. Ах, нет, не отмахивайтесь... Предположим даже, что я протяну еще несколько лет, – что может измениться? Я до гроба приговорена ко всем мукам адовой диеты, и единственное, что занимает меня, это мой желудок, мои нервы; характер мой безнадежно испорчен: когда-то была хохотушкой... но, впрочем, всегда относилась требовательно к людям, – а теперь я требовательна ко всему, к вещам, к соседской собаке, ко всякой минуте существования, которая не так служит мне, как хочу. Вам известно... я была семь лет замужем – особого счастья не запомнилось; я дурная мать, но сама с этим примирилась, твердо зная, что мою смерть только ускорит близость шумной девчонки, – причем глупо, болезненно завидую ее мускулистым ножкам, румянцу, пищеварению. Я бедна: одну половину моей ренты съедает болезнь, другую – долги. Даже если и допустить, что вы по характеру, по чуткости... ну, словом, по разным чертам, в мужа мне годитесь, – видите, я делаю ударение на “мне”, – то каково будет вам с такой женой? Душой-то я, может быть, и молода, ну и внешностью еще не вовсе монстр, но не наскучит ли вам возиться с привередницей, никогда-никогда ей не перечить, соблюдать ее привычки, ее причуды, ее посты и правила, а все ради чего? – ради того, чтобы, может быть, через полгода остаться вдовцом с чужим ребенком на руках!»

«Посему заключаю, – сказал он, – что мое предложение принято».

И он вытряхнул на ладонь из замшевого мешочка чудный неотшлифованный камешек, как бы освещенный снутри розовым огнем сквозь винную синеватость.

Она приехала за два дня до свадьбы, с пламенными щеками, в незастегнутом синем пальто с болтающимися сзади концами пояса, в шерстяных носках почти до колен, в берете на мокрых кудрях. Стоило, стоило, стоило, – повторял он мысленно, держа ее холодную красную ручку и с улыбкой морщась от воплей ее неизбежной спутницы: «Это я жениха нашла, это я жениха привела, жених – мой!» (и вот, с ухватками орудийной прислуги, попыталась закружить неповоротливую невесту). Стоило, да, сколько бы времени ни пришлось тащить сквозь невылазый брак эту махину, – стоило, переживи она всех, стоило, ради естественности его присутствия здесь и ласковых прав будущего отчима.

Но правами этими он еще не умел пользоваться, – отчасти с

непривычки, отчасти от опасливого ожидания неизмеримо большей свободы, главное же потому, что ему никак не удавалось побыть с этой девочкой наедине. Правда, с разрешения матери, он повел ее в ближайшую кофейню, и сидел, и смотрел, опираясь на трость, как она въедается в абрикосовый край плетеного пирожного, поддаваясь вперед, выпячивая нижнюю губу, дабы подхватить липкие листики, и старался ее смешить, говорить с ней так, как умел говорить с детьми обыкновенными, но все тормозила поперек лежавшая мысль, что, будь помещение безлюднее да уголковатее, он без особого предлога слегка потискал бы ее, не боясь чужих взглядов, более прозорливых, чем ее доверчивая чистота. Ведя ее домой, не поспевая за ней на лестнице, он мучился не только чувством упущенного; он мучился еще тем, что пока хоть раз не сделает того-то и того-то, не может положиться на обещание судьбы в невинных речах, в тонких оттенках ее детской толковости и молчания (когда из-под внимающей губы зубы нежно опирались на задумчивую), в медленном образовании ямок при старых шутках, поражающих новизной, в чуемых излучинах ее подземных ручьев (без них не было бы этих глаз). Пусть, в будущем, свобода действий, свобода особого и его повторений, все осветит и согласует; пока, сейчас, сегодня, опечатка желания искажала смысл любви; оно служило, это темное место, как бы помехой, которую надо было как можно скорее раздавить, стереть, – любым подлогом наслаждения, – чтобы в награду получить возможность смеяться вместе с ребенком, понявшим наконец шутку, бескорыстно печься о нем, волну отцовства совмещать с волной влюбленности. Да, подлог, утайка, боязнь легчайшего подозрения, жалоб, доноса невинности (знаешь, мама, когда никого нет, он непременно начинает ласкаться), необходимости быть настороже, чтобы не попасться случайному охотнику в этих густо населенных долинах, – вот что сейчас мучило и вот чего не будет в заповеднике, на свободе – «Но когда, когда?» – в отчаянии думал он, расхаживая по своим тихим, привычным комнатам.

На другое утро он сопровождал свою страшную невесту в какое-то присутственное место, откуда она собралась к врачу, которому, по-видимому, хотела задать кое-какие щекотливые вопросы, ибо велела жениху отправиться к ней на квартиру и там ее ждать через час к обеду. Отчаяние ночи забылось. Он знал, что приятельница тоже в бегах (муж вообще не приехал), – и предвкушение того, что он девочку застанет одну, кокаином таяло у него в чреслах. Но когда он домчался, то нашел ее болтающей с уборщицей в розе сквозняков. Он взял газету от тридцать второго числа и, не видя строк, долго сидел в уже отработанной гостиной и слушал оживленный за стеной разговор в промежутках пылесосного воя, и посматривал на эмаль часов, убивая уборщицу, отсылая труп на Борнео, а тем временем он различил третий голос и вспомнил, что еще есть старуха на кухне, ему будто послышалось, что девочку посылали в лавку. Потом пылесос отсопел и был выключен, где-то стукнули оконные рамы, уличный шум замолк. Выждав еще с минуту, он встал и, вполголоса напевая, с бегающими глазами, стал обходить притихшую квартиру. Нет, никуда не послали, – стояла у окна в своей комнате и смотрела на улицу, приложив ладони к стеклу; оглянувшись и быстро сказала, потрянув волосами и уже опять принимаясь наблюдать: «Смотрите: столкновение!» Он подступал, подступал, затылком чувствуя, что дверь сама затворилась, подступал к ее гибко вдавленной спине, к сборкам у талии, к ромбовидным

клеткам уже за сажень осязаемой материи, к плотным голубым жилкам над уровнем полочек, к лоснящейся от бокового света белизне шеи около коричневых кудрей, которыми она опять сильно трянула: семь восьмых привычки, осьмушка кокетства. «Ага, столкновение, злоключение...» – бормотал он, как бы глядя в пустое окно поверх ее темени, но лишь видя перхотинки в шелку завоя. «Красный виноват!» – воскликнула она убежденно. «Ага, красный... подайте сюда красного...» – продолжал он бессвязно, и, стоя за ней, обмирая, скрадывая последний дюйм тающего расстояния, он взял ее сзади за руки и принялся их бессмысленно раздвигать, подтягивать, и она только чуть вертела косточкой правой кисти, машинально стремясь пальцем указать ему на виноватого. «Постой, – сказал он хрипло, – придвинь локти к бокам, посмотрим, могу ли, могу ли тебя приподнять». В это время стукнуло в прихожей, раздался зловещный макинтошный шорох, и он с неловкой внезапностью отошел от нее, засовывая руки в карманы, покашливая, рыча, начиная громко говорить: «...Наконец-то! Мы тут голодаем...» – и когда садились за стол, у него все еще была неудовлетворенная тоскливая слабость в икрах.

После обеда пришло несколько кофейниц, – и под вечер, когда гости схлынули, а приятельница деликатно ушла в кинематограф, хозяйка в изнеможении вытянулась на кушетке.

«Уходите, друг мой, домой, – проговорила она, не поднимая век. – У вас, должно быть, дела, ничего, верно, не уложено, а я хочу лечь, иначе завтра ни на что не буду годиться».

Он клюнул ее в холодный, как творог, лоб, коротким мычанием симулируя нежность, и затем сказал:

«Между прочим... я все думаю: жалко девчонку! Предлагаю все-таки оставить ее тут – что ей, в самом деле, продолжать обретаться у чужих, – ведь это даже нелепо – теперь-то, когда снова образовалась семья. Подумайте-ка хорошенько, дорогая».

«И все-таки я отправлю ее завтра», – протянула она слабым голосом, не раскрывая глаз.

«Но поймите, – продолжал он тихо – ибо ужинавшая на кухне девочка, кажется, кончила и где-то теплилась поблизости, – поймите, что я хочу сказать: отлично – мы им всё заплатили и даже переплатили, но вероятно ли, что ей там от этого станет уютнее? Сомневаюсь. Прекрасная гимназия, вы скажете (она молчала), но еще лучшая найдется и здесь, не говоря о том, что я вообще всегда стоял и стою за домашние уроки. А главное... видите ли, у людей может создаться впечатление – ведь один намечек в этом роде уже был нынче, – что, несмотря на изменившееся положение, то есть когда у вас есть моя всяческая поддержка и можно взять бóльшую квартиру, – совсем отгородиться и так далее, – мать и отчим все-таки не прочь забросить девчонку».

Она молчала.

«Делайте, конечно, как хотите», – проговорил он нервно, испуганный

ее молчанием (зашел слишком далеко!).

«Я вам уже говорила, – протянула она с той же дурацкой страдальческой тихостью, – что для меня главное мой покой. Если он будет нарушен, я умру... Вот, она там шаркнула или стукнула чем-то – негромко, правда? – а у меня уже судорога, в глазах рябит, – а дитя не может не стучать, и если будет двадцать пять комнат, то будет стук во всех двадцати пяти. Вот, значит, и выбирайте между мною и ею».

«Что вы, что вы! – воскликнул он с паническим заскоком в гортани. – Какой там выбор... Бог с вами! Я это только так, – теоретические соображения. Вы правы. Тем более что я сам ценю тишину. Да! Стою за статус кво, – а кругом пусть квакают. Вы правы, дорогая. Конечно, я не говорю... может быть, впоследствии, может быть, там, весной... Если вы будете совсем здоровы...»

«Я никогда не буду совсем здорова», – тихо ответила она, приподнимаясь и со скрипом переваливаясь на бок, после чего подперла кулаком щеку и, качая головой, глядя в сторону, повторила эту фразу.

И на следующий день, после гражданской церемонии и в меру праздничного обеда, девочка уехала, дважды при всех коснувшись его бритой щеки медленными, свежими губами: раз – поздравительно, над бокалом, и раз – на прощание, в дверях. Затем он перевез свои чемоданы и долго раскладывал в бывшей ее комнате, где в нижнем ящике нашел какую-то ее тряпочку, больше сказавшую ему, чем те два неполных поцелуя.

Судя по тому, каким тоном его особа (называть ее женой было невозможно) подчеркнула, насколько вообще удобнее спать в разных комнатах (он не спорил) и как, в частности, она привыкла спать одна (пропустил), он не мог не заключить, что в ближайшую же ночь от него ожидается первое нарушение этой привычки. По мере того, как сгущалась за окном темнота и становилось все глупее сидеть рядом с кушеткой в гостиной и молча пожимать или подносить и прилаживать к своей напряженной скуле ее угрожающе покорную руку в сизых веснушках по глянцевиному тылу, он все яснее понимал, что срок платежа подошел, что теперь уже неотвратимо то самое, наступление чего он, конечно, давно предвидел, но – так, не вдумываясь, придет время, как-нибудь справлюсь, – а время уже стучалось, и было совершенно очевидно, что ему (маленькому Гулливеру) физически невозможно приступить к этому ширококостному, многостремнинному, в громоздком бархате, с бесформенными лодыгами и ужасной косинкой в строении тяжелого таза – не говоря уже о кислой духоте увядшей кожи и еще неизвестных чудесах хирургии, – тут воображение повисало на колючей проволоке.

Еще за обедом, отказываясь, словно нерешительно, от второго бокала и словно уступая соблазну, он на всякий случай ей объяснил, что в минуты подъема подвержен различным угловым болям, так что теперь он постепенно стал отпускать ее руку и, довольно грубо изображая дерганье в виске, сказал, что выйдет проветриться: «Понимаете, – добавил он, заметив с каким странным вниманием (или это мне

кажется?) уставились на него ее два глаза и бородавка, – понимаете, счастье мне так ново... ваша близость... эх, никогда не смел мечтать о такой супруге...»

«Только не надолго. Я ложусь рано... и не люблю, чтоб меня будили», – ответила она, распустив свежеефрированную прическу и ногтем постукивая по верхней пуговице его жилета; потом слегка его оттолкнула – и он понял, что приглашение неотклонимо.

Теперь он бродил в дрожащей нищете ноябрьской ночи, в тумане улиц, с потопа впавших в состояние мороси, и, стараясь отвлечься, принуждал себя думать о счетах, о призмах, о своей профессии, искусственно увеличивал ее значение в своем существовании, – и все расплывалось в слякоти, в ознобе ночи, в агонии изогнутых огней. Но именно потому, что сейчас не могло быть и речи о каком-либо счастье, прояснилось вдруг что-то другое: он с точностью измерил пройденный путь, оценил всю непрочность, всю призрачность проектов, все это тихое помешательство, очевидную ошибку наваждения, которое отступило от своего единственно законного естества, свободного и действительного только в цветущем урочище воображения, чтобы с жалкой серьезностью лунатика, калеки, тупого ребенка (ведь сейчас одернут и взгреют) заниматься планами и действиями, подлежащими компетенции лишь взрослой вещественной жизни. А еще можно было выкрутиться! Вот сейчас бежать – и скорее письмо к особе с изложением того: что сожительство для него невозможно (любые причины), что только из чудачковатого сострадания (развить) он взялся ее содержать, а теперь, узаконив сие навсегда (точнее), удаляется опять в свою сказочную неизвестность. «А между тем, – продолжал он мысленно, полагая, что все еще следует тому же порядку трезвых соображений (и не замечая, что изгнанная босоножка вернулась с черного хода), – как было бы просто, если бы матушка завтра умерла – да ведь нет, ей не к спеху, – вцепилась зубами в жизнь, будет виснуть – а какой мне в том прок, что умрет с запозданием и придет ее хоронить шестнадцатилетняя недотрога или двадцатилетняя незнакомка? Как было бы просто (размышлял он, задержавшись, весьма кстати, у освещенной витрины аптеки), коли был бы яд под рукой... Да много ли нужно, когда для нее чашка шоколада равносильна стрихнину! Но отравитель оставляет в спущенном лифте свой пепел... а ее непременно ведь вскроют, по привычке вскрывать...»; и хотя рассудок и совесть наперебой твердили (немножко подзадоривая), что – все равно, даже если бы нашлось незаметное зелье, он не решился бы на убийство (разве что если совсем, совсем бесследное, да и то – в крайнем случае, да и то – лишь с целью сократить страдания все равно обреченной жены), он давал волю теоретическому развитию невозможной мысли, наталкиваясь рассеянным взглядом на идеально упакованные флаконы, на модель печени, на паноптикум мыл, на взаимную дивно-коралловую улыбку женской головки и мужской, благодарно глядящих друг на дружку, – потом прищурился, кашлянул – и после минутного колебания быстро вошел в аптеку.

Когда он вернулся домой, в квартире было темно – шмыгнула надежда, что она уже спит, но, увы, дверь ее спальни была по линейке подчеркнута остро отточенным светом.

«Шарлатаны... – подумал он, мрачно пожимаясь, – что ж, придется держаться первоначальной версии. Пожелаю покойнице ночи – и на боковую». (А завтра? А послезавтра? А вообще?)

Но посреди прощальных речей о мигрени, у пышного изголовья, вдруг, ни с того ни с сего, и само по себе, положение круто переменялось, предмет же был несущественен, так что потом удивительно было найти труп чудом поверженной великанши и взирать на муаровый нательный пояс, почти совсем закрывавший шрам.

Последнее время она чувствовала себя сносно (донимала только отрыжка), но в первые дни брака тихонько возобновились боли, знакомые ей по прошлой зиме. Не без поэзии она предположила, что больной, ворчливый орган, задремавший было в тепле постоянного пестования, «как старая собака», теперь приревновал к сердцу, к новичку, которого «погладили один раз». Как бы то ни было, она с месяц пролежала в постели, прислушиваясь к этой внутренней возне, пробному царапанию, осторожным укусам; потом стихло – она даже встала, копалась в письмах первого мужа, кое-что сожгла, разбирала какие-то страшно старенькие вещицы – детский наперсток, чешуйчатый кошелек матери, еще что-то золотое, тонкое, – как время, текучее. Под Рождество ей сделалось опять плохо, и ничего не вышло из предполагавшегося приезда дочери.

Он выказывал ей неизменную заботливость; он утешительно мычал, с ненавистью принимая от нее неловкую ласку, когда она, бывало, с ужимками старалась объяснить, что не она, а оно (мизинцем на живот) виновато в их ночном разъединении – и все это так звучало, точно она беременна (ложно беременна своей же смертью). Всегда ровный, всегда подтянутый, он соблюдал плавный тон, что усвоил с начала, и она была ему благодарна за все – за старомодную галантность обращения, за это «вы», казавшееся ей собственным достоинством нежности, за исполнение прихотей, за новую радиолу, за то, что он безропотно согласился дважды переменить сиделку, нанятую для постоянного ухода за ней.

По пустякам она не отпускала его от себя дальше угловой комнаты, а когда он шел по делу, то совместно разрабатывался наперед точный предел отлучки, и так как его ремесло не требовало определенных часов, то всякий раз приходилось – весело, скрипя зубами, – бороться за каждую крупницу времени. В нем корчилась бессильная злоба, его душил прах рассыпавшихся комбинаций, но ему так надоело торопить ее смерть, так опошлится в нем эта надежда, что он предпочитал заискивать перед противоположной: может быть, к лету настолько оправится, что разрешит девочку увезти к морю на несколько дней. Но как подготовить? Еще в начале ему казалось, что будет легко как-нибудь, под видом деловой поездки, махнуть в тот городок с черной церковью и с садами, отраженными в реке, но когда он раз сказал, что – вот какой случай, мне, может быть, удастся посетить вашу дочку, если придется съездить туда-то (назвал соседний город), ему почудилось, что какой-то смутный, почти бессознательный, ревнивый уголек вдруг оживил ее дотоле несуществовавшие глаза – и, поспешно замяв разговор, он удовольствовался тем, что, видимо, она сама тотчас забыла идиотски-интуитивное чувство, – которое, уж конечно, нечего было опять возбуждать.

Постоянство колебаний в состоянии ее здоровья представлялось ему самой механикой ее существования; постоянство их становилось постоянством жизни; со своей же стороны он замечал, что вот уже на его делах, на точности глаза и граненной прозрачности заключений, начинает дурно отражаться постоянное качание души между отчаянием и надеждой, вечная зыбь неудовлетворенности, болезненный груз скрученной и спрятанной страсти, – вся та дикая, душная жизнь, которую он сам, сам себе устроил.

Случалось, он проходил мимо игравших девочек, случалось, миленькая бросалась ему в глаза, но бросалась она бессмысленно плавным движением замедленной фильмы, и он сам изумлялся тому, до чего неотзывчив, до чего занят, с какой определенностью стянулись навербованные отовсюду чувства – тоска, жадность, нежность, безумие – к образу той совершенно единственной и незаменимой, которая проносилась тут в раздираемом солнцем и тенью платье. И случалось, ночью, когда все стихало – и радиола, и вода в уборной, и белые шажки сиделки, и тот бесконечно задержанный звук (хуже любого грохота!), с которым она затворяла двери, и осторожный звон ложечки, и трык-трык аптечки, и отдаленная загробная жалоба особы, – когда все это окончательно стихало, он ложился навзничь и вызывал единственный образ, и восьмью руками оплетая улыбающуюся добычу, осьмью щупальцами присасываясь к ее подробной нагоде, наконец исходил черным туманом и терял ее в черноте, а черное расплзлось сплошь, да всего лишь было чернотой ночи в его одинокой спальне.

Весной ей как будто сделалось хуже, и после консилиума ее перевезли в госпиталь. Там, накануне операции, она ему с достаточной, несмотря на страдания, отчетливостью говорила о завещании, о поверенном, о том, что необходимо сделать, если она завтра... и дважды, дважды заставила его поклясться, что он будет как о собственной... и чтобы та не сердилась, не сердилась на покойную мать. «Может быть, все-таки ее вызвать, – сказал он громче, чем хотел, – а?» – но она уже все выложила, зажмурилась в муке, и, постояв у окна, он вздохнул, поцеловал ее в желтый кулак, сжатый на отвороте простыни, и вышел.

Рано утром ему позвонил один из больничных врачей, чтобы сообщить, что ее только что оперировали, что успех, кажется, полный, превзошедший все надежды хирурга, но что до завтра ее лучше не навещать.

«Ах, успех, ах, полный, – бессмысленно бормотал он, устремляясь из комнаты в комнату, – ах, как мило... поздравьте нас, будем поправляться, будем цвести... Что это такое! – вдруг вскрикнул он горловым голосом, так ахнув дверью клозета, что из столовой откликнулся испуганный хрусталь. – Ну, посмотрим, – продолжал он среди паники стульев, – посмотрим... Я вам покажу успех! Успех, усопьех, – передразнил он произношение соплявой судьбы, – ах, прелестно! Будем жить, поживать, дочку выдадим раненько, ничего, что

хрупкая, зато муж – здоровяк, да как всадит нахрапом в хрупь... Нет, господа, довольно! Это издевка! Я тоже имею право голоса! Я...» – и вдруг его блуждающее бешенство натолкнулось на неожиданную добычу.

Он замер, шевеление пальцев прекратилось, глаза на минуту закатились, – а вернулся он из этого краткого столбняка с улыбкой. «Довольно, господа», – повторил он, но уже совсем с другим, почти вкрадчивым выражением.

Немедленно он навел нужную справку: был весьма удобный экспресс в 12.23... прибывающий ровно в 16.00. С обратным сообщением обстояло хуже... придется нанять там машину, сразу назад, к ночи мы будем тут – вдвоем, совершенно взаперти, с усталенькой, сонненькой, скорей раздеваться, я буду тебя баюкать – только это... только уют – какая там каторга (хотя, между прочим, лучше сейчас каторга, чем поганец в будущем)... тишина, голые ключицы, бридочки, пуговицы сзади, лисий шелк между лопаток, зевота, горячие подмышки, ноги, нежности – не терять головы, – но чего, впрочем, естественнее, что привез маленькую падчерицу, – что все-таки решил это сделать, – режут мать, ответственность, усердие, сама же просила «заботиться», – и пока мать спокойно лежит в больнице, что может быть, повторяем, естественнее, что здесь, где кому ж моя душенька помешает... и вместе с тем, знаете, – под боком, мало ли что, надо быть ко всему... ах, успех? тем лучше – выздоравливающие добреют, а если все-таки изволите гневаться – объясним, объясним, – хотели сделать лучше – ну, может быть, немножко растерялись, признаемся, но с самыми лучшими... – и, радостно торопясь, он у себя (в ее бывшей комнате) перестелил постель, навел беглый порядок, принял ванну, отменил деловое свидание, отменил уборщицу, быстро закусил в своем «холостом» ресторане, накупил фиников, ветчины, пеклеванного[19], сбитых сливок, мускатного винограда, – чего еще? – и, вернувшись домой, разваливаясь на пакеты, все видел, как она вот тут пройдет, как там сядет, отведя назад тонкие обнаженные руки, пружинисто опираясь сзади себя, кудрявая, томненькая, и тут позвонили из больницы, прося его все-таки заглянуть, и когда по пути на вокзал он нехотя заехал, то узнал, что особа кончилась.

Прежде всего охватила яростная досада: значит, план провалился, это близкое, теплое, ночное отнято у него, и когда она явится, вызванная телеграммой, то, конечно, вместе с той выдрой и мужем выдры, которые и вселятся на недельку. Но именно потому, что первое его движение было таким, силой этого близорукого порыва образовалась пустота, ибо не могла же досада на (случайно помешавшую) смерть сразу перейти в благодарность за нее (основному року). Пустота между тем заполнялась предварительным серо-человечьим содержанием – сидя на скамье в больничном саду, успокаиваясь, готовясь к различным хлопотам, связанным с техникой похоронного положения, он с приличной печалью пересматривал в мыслях то, что видел только что воочию: отполированный лоб, прозрачные крылья ноздрей с жемчужиной сбоку, эбеновый крест – всю эту ювелирную работу смерти, – между прочим презрительно дунул на хирургию и стал думать о том, что все-таки ей было здорово хорошо под его опекой, что он походя дал ей настоящее счастье, скрасившее последние месяцы ее прозябания, а отсюда уже был естественен переход к признанию за умницей судьбой прекрасного

поведения и к первому сладкому содроганию крови: бирюк[20] надевал чепец.

Он ожидал, что они приедут на другой день к завтраку – и действительно – звонок... но приятельница покойной особы стояла на пороге одна (протягивая костлявые руки и недобросовестно пользуясь сильным насморком для нужд наглядного соболезнавания): ни муж, ни «сиротка», оба лежавшие с гриппом, не могли приехать. Его разочарование сгладило мысль, что так правильно, – не надо портить: присутствие девочки в этом сочетании траурных помех было бы столь же мучительно, как был ее приезд на свадьбу, и гораздо разумнее в течение ближайших дней покончить со всеми формальностями и основательно подготовить отчетливый прыжок в полную безопасность. Раздражало только, что «оба»: связь болезни (словно в одной постели), связь заразы (может быть, этот пошляк, поднимаясь за ней по крутой лестнице, любил лапать за голые ляжки). Изображая совершенное оцепенение – что было проще всего, как знают и уголовные, – он сидел одеревеневшим вдовцом, опустив увеличившиеся руки, чуть шевеля губами в ответ на совет облегчить запор горя слезами, и смотрел мутным глазом, как она сморкается (тройственный союз, – это лучше), и когда, рассеянно, но жадно занимаясь ветчиной, она говорила такие вещи, как: «По крайней мере, не долго страдала» или: «Слава Богу, что в беспмятстве», сгущенно подразумевая, что страдания и сон суть естественный удел человека и что у червей добрые личики, а что главное плавание на спине происходит в блаженной стратосфере, он едва не ответил ей, что сама по себе смерть всегда была и будет похабной дурой, да вовремя сообразил, что его утешительница может неприятно усомниться в его способности дать отроковице религиозно–нравственное воспитание.

На похоронах народу было совсем мало (но почему–то явился один из его прежних полуприятелей – золотых дел мастер с женой), и потом, в обратном автомобиле, полная дама (бывшая также на его шутовской свадьбе) говорила ему, участливо, но и внушительно (он сидел, головы не поднимая, – голова от езды колебалась), что теперь–то по крайней мере ненормальное положение ребенка должно измениться (приятельница бывшей особы притворялась, что смотрит на улицу) и что в отеческой заботе он непременно найдет должное утешение, а другая (бесконечно отдаленная родственница покойной) вмешалась и сказала: «Девчоночка–то прехорошенькая! Придется вам смотреть в оба, – и так уже не по летам крупненькая, а годика через три так и будут липнуть молодые люди, – забот не оберетесь», – и он про себя хохотал, хохотал на пуховиках счастья.

Накануне, в ответ на новую телеграмму («Беспокоюсь как здоровье целую» – причем этот вписанный в бланк поцелуй был уже первым настоящим) пришло сообщение, что у обоих жар спал, и перед отъездом восвояси все еще сморкавшаяся женщина спросила, показывая шкатулку, может ли она взять это для девочки (какие–то материнские мелочи заветной давности), а затем поинтересовалась, как и что будет дальше. Только тогда, крайне замедленным голосом, точно каждый слог был преодолением скорбной немоты, с паузами и без всякого выражения, он ей доложил, как и что будет: поблагодарил за годовой присмотр и предупредил, что ровно через две недели он заедет за дочерью (так и

вымолвил), чтобы взять ее с собой на юг, а оттуда, вероятно, за границу. «Да, это мудро, – ответила та с облегчением (слегка разбавленным, будем надеяться, мыслью, что последнее время она на питомице, вероятно, подрабатывала). – Поезжайте, рассейтесь, ничто так не врачует горя».

Эти две недели были ему нужны для устройства своих дел – с таким расчетом, чтобы по крайней мере год не думать о них, – а там будет видно. Пришлось продать кое-что из собственных экземпляров. А укладываясь, он случайно нашел в столе некогда подобранную монету (между прочим, оказавшуюся фальшивой) и усмехнулся: талисман уже отслужил.

Когда он сел на поезд, послезавтрашний адрес все еще был как берег в тумане зноя: предварительный символ будущей анонимности; он всего лишь наметил, где, по пути на этот мерцающий юг, заночуют, но не считал нужным предрешать дальнейшее новоселье. Все равно где, – место украсит босая ножка; все равно куда, – только бы унести – и потеряться в лазури. Грифы столбов пролетали со спазмами гортанной музыки. Дрожь в перегородках вагона была как треск мощно топорщившихся крыл. Будем жить далеко, то на холмах, то у моря, в оранжерейном тепле, где обыкновение дикарской оголенности установится само собой, совсем одни (без прислуги!), не выдаясь ни с кем, вдвоем в вечной детской, что уж окончательно добьет стыдливость; при этом – постоянное веселье, шалости, утренние поцелуи, возня на общей постели, большая губка, плачущая над четырьмя плечами, прыщущая от смеха между четырех ног, – и он думал, блаженствуя на внутреннем припеке, о сладком союзе умышленного и случайного, о ее эдемских открытиях, о том, сколь естественными и зараз особыми, нашенскими, ей будут вблизи казаться смешные приметы разнополых тел, – между тем как дифференциалы изысканнейшей страсти долго останутся для нее лишь азбукой невинных нежностей: ее будут тешить только картинки (ручной великан, сказочный лес, мешок с кладом) да забавные последствия любознательных прикосновений к игрушке со знакомым, никогда не скучным фокусом[21]. Он был убежден, что, пока новизна довлеет себе и еще не озирается, будет легко при помощи прозвищ и шуток, утверждающих бесцельную в сущности простоту данных оригинальностей, заранее отвлечь нормальную девочку от сопоставлений, обобщений, вопросов, на которые что-нибудь подслушанное прежде, или сон, или первые сроки могли бы ее подтолкнуть, так что из мира полуотвлеченностей, ей, вероятно, полуизвестных (вроде правильного толкования самостоятельного живота соседки, вроде школьных пристрастий к морде модного комедианта), от всего как-либо связанного со взрослой любовью будет пока что изъят переход к привычной действительности милых развлечений, а пристойность, мораль не заглянут сюда по незнанию порядков и адреса.

Система подъемных мостов хороша до тех пор, покамест цветущая пропасть сама не дотянет крепкой молодой ветви до светлицы; но именно потому, что в первые, скажем, два года пленнице будет неведома временно вредная для нее связь между куклой в руках и одышкой пуппенмейстера, между сливой во рту и восторгом далекого дерева, придется быть сугубо осторожным, не отпускать ее никуда одну, почаще менять местожительство (идеал – миниатюрная вилла в

слепом саду), зорко смотреть за тем, чтобы не было у нее ни знакомств с другими детьми, ни случая разговаривать с фруктощицей или поденщицей, – ибо мало ли какой вольный эльф может слететь с уст волшебной невинности, – и какое чудовище чужой слух понесет к мудрецам для рассмотра и обсуждения. А вместе с тем, в чем упрекнуть волшебника? Он знал, что найдет в ней достаточно утех, чтобы не расколдовать ее слишком рано, ничего в ней не отличать слишком явным вниманием неги; играя в прогулку капуцина, не слишком упираться в иной тупичок; он знал, что не посягнет на ее девственность в самом тесном и розовом смысле слова, пока эволюция ласк не перейдет незаметной ступени, – дотерпит до того утра, когда она сама, еще смеясь, прислушается к собственной отзывчивости и, уже молча, потребует совместных поисков струны.

Воображая дальнейшие годы, он все видел ее подростком, таков был плотский постулат; зато, ловя себя на этой предпосылке, он понимал без труда, что если мыслимое течение времени и противоречит сейчас бессрочной основе чувств, то постепенность очередных очарований послужит естественным продолжением договора со счастьем, принявшим в расчет и гибкость живой любви; что на свет этого счастья, как бы она ни повзрослела – в семнадцать лет, в двадцать, – ее сегодняшней образ всегда будет сквозить в ее метаморфозах, питая их прозрачные слои своим внутренним ключом; и что именно это позволит ему, без урона или утраты, насладиться чистым уровнем каждой из ее перемен. Она же сама, уточнившись и удлинившись в женщину, уже никогда не будет вольна отделить в сознании и памяти свое развитие от развития любви, воспоминания детства от воспоминаний мужской нежности, – вследствие чего прошлое, настоящее, будущее представятся ей единым сиянием, источник коего, как и ее самоё, излучил он, живородящий любовник.

Так они будут жить, – и смеяться, и читать книги, и дивиться светящимся мухам, и говорить о цветущей темнице мира, и он будет рассказывать, и она будет слушать, маленькая Корделия, и море поблизости будет дышать под луной, – и чрезвычайно медленно, сначала всей чуткостью губ, затем всей их тяжестью, вплотную, все глубже, только так, в первый раз, в твое воспаленное сердце, так, пробиваясь, так, погружаясь, между его тающих краев...

Дама, сидевшая напротив, почему-то вдруг поднялась и перешла в другое отделение; он посмотрел на пустые свои часики – теперь уже скоро, – и вот он уже поднимался вдоль белой стены, увенчанной ослепительными осколками; летало множество ласточек, – а встретившая его на крыльце приятельница покойной особы объяснила ему присутствие груды золы и обугленных бревен в углу сада тем, что ночью случился пожар, – пожарные не сразу справились с летящим пламенем, сломали молодую яблоню, и, конечно, никто не выпался. В это время вышла она, в темном вязаном платье (в такую жару!), с блестящим кожаным пояском и цепочкой на шее, в длинных черных чулках, бедненькая, и в самую первую минуту ему показалось, что она слегка подурнела, стала курносее и голенастее, – и хмуро, быстро, с одним только чувством острой нежности к ее трауру, он взял ее за плечо и поцеловал в теплые волосы. «Все могло вспыхнуть!» – воскликнула она, подняв розово-озаренное лицо с тенью листьев на лбу и тараща глаза,

прозрачно–жидко колеблемые отражением солнца и сада.

Она, довольная, держала его под руку, пока входили в дом, следом за громко говорившей хозяйкой, – и естественность уже улетучилась, он уже неловко сгибал свою–не–свою руку, – и на пороге гостиной, в которой гремели вошедший вперед монолог и раскрываемые ставни, он руку высвободил и, в виде рассеянной ласки (а в действительности весь на мгновение уйдя в крепкое с ямкой осязание), слегка похлопал ее по бедру – беги, дескать, – и вот уже садился, пристраивал трость, закуривал, искал пепельницу, что–то отвечал, – преисполненный дикого ликования.

От чайку он отказался, объяснив, что сейчас появится заказанный на вокзале автомобиль, что туда уже погружены его чемоданы (эта подробность, как бывает во сне, имела какой–то мелькающий смысл) и что «Покатим с тобой к морю!» – почти выкрикнул он по направлению девочки, которая, оборотясь на ходу, чуть не упала с треском через табурет, но мгновенно выправила молодое равновесие, повернулась и села, покрыв табурет опавшей юбкой. «Что?» – спросила она, отведя волосы и косясь на хозяйку (табурет уже раз был сломан). Он повторил. Она радостно подняла брови – не думала, что случится именно так, и сегодня же. «Я–то надеялась, – солгала хозяйка, – что вы у нас переночуете». – «О нет, – крикнула девочка, шаркающим скольжением подлетая к нему, и продолжала неожиданной скороговоркой: – А как вы считаете, я скоро научусь плавать – одна моя подруга говорит, что можно сразу, то есть нужно сперва только научиться не бояться, – а это берет месяц...» – но хозяйка уже толкала ее в локоть, чтобы она доуложила с Марией то, что приготовлено слева в шкапу.

«Признаюсь, не завидую вам, – сказала сдававшая должность, когда девочка выбежала. – Последнее время, особенно после гриппа, у нее бывают всякие вспышки и капризы, на днях нагрубила мне – трудный возраст. Вообще мне кажется, хорошо бы, если бы вы взяли к ней пока что какую–нибудь барышню, а осенью – в хороший католический интернат. Смерть матери она переживает, как видите, довольно легко – да, может быть, не показывает, не знаю... Кончилось наше совместное житье... Я вам, кстати, еще осталась... Нет–нет, полноте, как же... Да, он только к семи приходит со службы, – будет очень жалеть... Жизнь, – ничего не поделаешь! Она–то бедняжка, во всяком случае, на небесах спокойна, да и у вас лучше вид, – а если бы не наша встреча... Просто не вижу, как бы я содержала чужого ребенка, а из сиротских приютов прямой шаг сами знаете куда. Вот я поэтому всегда и говорю: жизнь – одно слово. Помните, как мы с вами – на скамейке, – помните? Мне–то в голову не приходило, что она может найти второго, – а все–таки – мое женское чутье: что–то в вас было тоскующее – именно по такой пристани».

За листвой родился автомобиль. Садитесь! Знакомая черная шапочка, пальто на руке, небольшой чемодан, помощь краснорукой Марии. Погоди, уж я тебе накуплю... Захотела непременно – рядом с шофером, и пришлось согласиться да скрыть досаду. Женщина, которой мы никогда больше не увидим, махала яблоневого веточкой. Мария загоняла цыплят. Поехали, поехали.

Он сидел, откинувшись, промеж колен держа трость, весьма ценную, старинную, с толстым коралловым набалдашником, и смотрел сквозь переднее стекло на берет и довольные плечи. Погода была необыкновенно жаркая для июня, в окно била горячая струя, вскоре он снял галстук и расстегнул ворот. Через час девочка на него оглянулась (показала на что-то близ дороги, но он, хоть и обернулся с разинутым ртом, ничего не успел рассмотреть – и почему-то без всякой связи подумалось, что все-таки – почти тридцать лет разницы). В шесть они ели мороженое, а говорливый шофер пил пиво за соседним столиком, обращаясь к клиенту с различными рассуждениями. Дальше. Глядя на лесок, волнистыми прыжками все приближавшийся с холмика на холмок, пока не съехал по скату и не споткнулся о дорогу, где был пересчитан и убран, – он думал: «Не сделать ли тут привал? небольшая прогулка, посидим на мху среди грибов и бабочек». Но остановить шофера он не решился: что-то невыносимое было в образе подозрительного автомобиля, бездельничающего на шоссе.

Затем стемнело, незаметно зажглись их фары. В первой же придорожной харчевне сели поужинать – и резонер опять развалился поблизости, да, кажется, заглядывался не столько на господский бифштекс с дутым картофелем, сколько на шору ее волос в профиль и прелестную щеку: голубка моя и устала, и покраснелась, – путешествие, жирное жаркое, капля вина, – сказывалась бессонная ночь, розовый пожар впотьмах, салфетка спадала с мягко вдавленной юбочки, – и это теперь все мое, – он спросил, сдаются ли тут комнаты, – нет, не сдавались.

Несмотря на растущую томность, она решительно отказалась променять свое место спереди на поддержку и уют в глубине, сказав, что сзади ее будет тошнить. Наконец, наконец среди черной жаркой бездны созрели и стали лопаться огоньки, и была немедленно выбрана гостиница, и уплачено за мучительную поездку, и покончено с этим. Она почти дремала, выползая на панель, застывая в сиреневатой, щербатой тьме, в теплом запахе гари, в шуме и дрожи двух, трех, четырех грузовиков, пользовавшихся ночным безлюдием, чтобы чудовищно быстро съезжать под гору из-за угла улицы, где ныл, и тужился, и скрежетал скрытый подъем.

Коротконогий, большеголовый старик в расстегнутой жилетке, нерасторопный, медлительный и все объяснявший с виноватым добродушием, что он только заменяет хозяина, – старшего сына, отлучившегося по семейному делу, – долго искал в черной книге... сказал, что свободной комнаты с двумя кроватями нет (выставка цветов, много приезжих), но имеется одна с двуспальной, – «Что сводится к тому же, вам с дочкой будет только –» – «Хорошо, хорошо», – перебил приезжий, а туманное дитя стояло поодаль, мигая и глядя сквозь поволоку на двоившуюся кошку.

Отправились наверх. Прислуга, по-видимому, ложилась рано – или тоже отсутствовала. Покамест, кряхтя и низко нагибаясь, гном испытывал ключ за ключом, – из уборной рядом вышла, в лазурной пижаме, курчаво-седая старуха с ореховым от загара лицом и мимоходом полюбовалась на эту усталую красивую девочку, которая, в покорной позе нежной жертвы, темнелась платьем на охре, прислоняясь к стенке, опираясь лопатками и слегка откинутой лохматой головой, медленно

мотая ей и подергиванием век как бы стараясь распутать слишком густые ресницы. «Отоприте же наконец», – сердито проговорил ее отец, плешивый джентльмен, тоже турист.

«Тут буду спать?» – безучастно спросила девочка, и когда, борясь со ставнями, поплотнее сощуривая их щели, он ответил утвердительно, посмотрела на шапочку, которую держала, и вяло бросила ее на широкую постель.

«Ну вот, – сказал он после того, что старик, ввалив чемоданы, вышел и остались только стук сердца да отдаленная дрожь ночи. – Ну вот... теперь надо ложиться».

Шатаясь от сонливости, она наткнулась на край кресла, и тогда, одновременно садясь, он привлек ее за бедро, – она, выгнувшись, вырастая, как ангел, напрягла на мгновение все мускулы, сделала еще полшажка и мягко опустилась к нему на колени. «Моя душенька, моя бедная девочка», – проговорил он в каком-то общем тумане жалости, нежности, желания, глядя на ее сонность, дымчатость, заходящую улыбку, ощупывая ее сквозь темное платье, чувствуя на голом, сквозь тонко-шерстяное, полоску сиротской подвязки, думая о ее незащитности, заброшенности, теплоте, наслаждаясь живой тяжестью ее расплзавшихся и опять, с легчайшим телесным шорохом, повыше скрещивающихся ног, – и она медленно обвила вокруг его затылка сонную руку в тесном рукавчике, обдавая его каштановым запахом мягких волос, но рука сползла, подошвой сандалий она дремотно отталкивала несессер, стоявший рядом с креслом... Прогрохотало за окном, и потом, в тишине, стало слышно, как ноет комар, и почему-то это ему мельком напомнило что-то страшно далекое, какие-то поздние укладывания в детстве, плывущую лампу, волосы сверстницы сестры, давно-давно умершей. «Душенька моя», – повторил он и, отведя трущимся носом кудрю, бережливо прилаживаясь, почти без нажима вкусил ее горячей шелковистой шеи около холодка цепочки; затем, взяв ее за виски, так что глаза ее удлиннились и полусомкнулись, принялся ее целовать в расступившиеся губы, в зубы, – она медленно отерла рот углами пальцев, ее голова упала ему на плечо, промеж век виднелся лишь узкий закатный лоск, она совсем засыпала.

В дверь постучали – он сильно вздрогнул (отдернув руку от пояса – так и не поняв, как, собственно, расцепляется). «Проснись, слезай», – сказал он, быстро ее тормоша, и она, широко раскрыв пустые глаза, через кочку съехала. «Войдите», – сказал он.

Заглянул старик и сообщил, что господина просят сойти вниз: пришли из полицейского участка. «Полиция? – переспросил он, морщась в недоумении. – Полиция?.. Хорошо, идите, я сейчас спущусь», – добавил он, не вставая. Закурил, высморкался, аккуратно сложил платок, щурясь сквозь дым. «Слушай, – сказал он прежде, чем выйти. – Вот твой чемодан, вот я тебе его раскрою, найди, что тебе нужно, раздевайся пока и ложись; уборная – от двери налево».

«При чем тут полиция? – думал он, спускаясь по скверно освещенной лестнице. – Что им нужно?»

«В чем дело?» – резко спросил он, сойдя в вестибюль, где увидел застоявшегося жандарма, черного гиганта с глазами и подбородком кретина.

«А в том, – последовал охотный ответ, – что вам, как видно, придется сопроводить меня в комиссариат – это недалеко отсюда».

«Далеко или недалеко, – заговорил путешественник после легкой паузы, – но сейчас за полночь, и я собираюсь ложиться. Кроме того, не скрою от вас, что всякий вывод, особенно столь динамический, звучит криком в лесу для слуха, не посвященного в предшествовавший ход мыслей, – то есть проще: логическое воспринимается как зоологическое. Между тем глобтроттеру, только что и впервые попавшему в ваш радушный городок, любопытно узнать, на чем, – на каком, может быть, местном обычае, – основан выбор ночи для приглашения в гости, приглашения тем более неприемлемого, что я не один, а с утомленной девочкой. Нет, погодите, – я еще не кончил... Где это видано, чтобы правосудие предпосылало действие закона основанию его применить? Дождитесь улик, господа, дождитесь доносика! Пока что – сосед не видит сквозь стену и шофер не читает в душе. А в заключение – и это, может быть, самое существенное – извольте ознакомиться с моими бумагами».

Помутневший дурень ознакомился, очнулся и пустился трепать незадачливого старика: оказалось, что тот не только спутал две похожие фамилии, но никак не мог объяснить, когда и куда нужный проходимец съехал.

«То-то», – сказал путешественник мирно, досаду за задержку полностью выместив на поспешившем враге – при сознании своей неуязвимости (слава Року, что сзади не села, слава Року, что грибов не искали в июне, – а ставни, конечно, плотные).

Добежав до площадки, он спохватился, что не заметил номера комнаты, остановился в нерешительности, выплюнул окурочок... но теперь нетерпение чувств не пускало вернуться за справкой, – и не нужно – помнил расположение дверей в коридоре. Нашел, быстро облизнулся, взялся за ручку, хотел –

Дверь была заперта; и отвратительно поддалось под сердцем. Раз заперлась – значит, от него, значит, – подозрение, не надо было так целовать, спугнул, что-нибудь заметила, – или глупее и проще: по наивности убеждена, что он лег спать в другой комнате, в голову не пришло, что она будет спать в одной, вместе с чужим, – все-таки еще чужим, – и он постучал, едва ли еще сам сознавая всю силу своей тревоги и раздражения.

Услышал отрывистый женский смех, гнусное восклицание матрацных пружин и затем шлепанье босых ног. «Кто там? – сердито спросил мужской голос. – Ах, вы ошиблись? Так, пожалуйста, не ошибайтесь. Человек тут занимается делом, человек обучает молодую особу, человека перебивают...» В глубине опять прокатился смех.

Ошибка была пошлая – и только. Он двинулся дальше по коридору, – вдруг сообразил, что не та площадка, – пошел назад, повернул за

угол, озадаченно взглянул на счетчик в стене, на раковину под капающим краном, на чьи-то желтые сапоги у двери – повернул опять – лестница исчезла! Та, которую он наконец нашел, оказалась другой: спустившись по ней, он заблудился в полутемных помещениях, где стояли сундуки, где из углов выступали с фатальным видом то шкафчик, то пылесос, то сломанный табурет, то скелет кровати. Вполголоса выругался, теряя власть над собой, изведенный этими преградами... Толкнул дверь в глубине и, стукнувшись головой о низкую притолоку, вынырнул в вестибюль со стороны тускло освещенного закута, где, почесывая щетину щеки, старик смотрел в черную книгу, а на лавке рядом храпел жандарм – как в кордегардии[22]. Получить нужное сведение было делом минуты – слегка удлиненной извинениями старика.

Он вошел. Он вошел и прежде всего, никуда не глядя, украдчиво горбясь, дважды повернул тугой ключ в замке. Затем увидел черный чулок с резинкой под умывальником. Затем увидел раскрытый чемодан, начатый в нем беспорядок, полувытащенное за ухо вафельное полотенце. Затем увидел комок платья и белья на кресле, поясок, второй чулок. Только тогда он повернулся к острову постели.

Она лежала на спине поверх нетронутого одеяла, заложив левую руку за голову, в разошедшемся книзу халатике, – сорочки не доискала, – и при свете красноватого абажура, сквозь муть, сквозь духоту в комнате, он видел ее узкий впалый живот между невинных выступов бедренных косточек. Со звуком пушечной пальбы поднялся со дна ночи грузовик, стакан зазвенел на мраморе столика, и было странно смотреть, как мимо всего ровно тек ее заколдованный сон.

Завтра, конечно, начнем с азов, с продуманной постепенности, но сейчас ты спишь, ты ни при чем, не мешай взрослым, так нужно, это моя ночь, мое дело, – и, раздевшись, он лег слева от едва качнувшейся пленницы и застыл, сдержанно переводя дух. Так: час, которым он бредил вот уже четверть века, теперь наступил, но облаком блаженства он был скован, почти охлажден; наплывы и растекание ее светлого халатика, мешаясь с откровениями ее красоты, еще дрожали в глазах сложной зыбью, как сквозь хрусталь. Он все не мог найти оптический фокус счастья, не знал, с чего начать, к чему можно притронуться, как полнее всего в пределах ее покоя насытиться этим часом. Так. Пока что, с лабораторной бережностью, он снял с кисти бельмо времени и через ее голову положил на ночной столик между блестящей каплей воды и пустым стаканом.

Так. Бесценный оригинал: спящая девочка, масло. Ее лицо в мягком гнезде тут рассыпанных, там сбившихся кудрей, с бороздками запекшихся губ, с особенной складочкой век над едва сдавленными ресницами, сквозило рыжеватой розовостью на ближней к свету щеке, флорентийский очерк которой был сам по себе улыбкой. Спи, моя радость, не слушай. Уже его взгляд (себя ощущающий взгляд смотрящего на казнь или на точку в пропасти) пополз по ней вниз, левая рука тронулась в путь, – но тут же он вздрогнул, ибо шевельнулся кто-то другой в комнате, на границе зрения, – не сразу признал отражение в шкафном зеркале (его уходящие в тень пижамные полосы, да смутный отблеск в лакированном дереве, да что-то черное под ее розовой щиколкой). Наконец решившись, он слегка погладил ее по длинным, чуть

разжатым, чуть липким ногам, шершаво свежавшим книзу, ровно разгоравшимся к верховьям, – с бешеным торжеством вспомнил ролики, солнце, каштаны, всё... – пока концами пальцев поглаживал, дрожа и косясь на толстый мысок, едва опушившийся, – по-своему, но родственно сгустивший в себе что-то от ее губ, щек, – а немного повыше, на прозрачном разветвлении вен, упивался комар, и, ревниво прогоняя его, он нечаянно помог спасти давно мешавшему отвороту, и вот они, вот, эти странные, слепые, как бы двумя нежными нарывами вспухшие грудки, – и теперь обнажилась вдоль тонкой, еще детской мышцы, натянутая, молочно-белая впадина подмышки, в пяти-шести расходящихся, шелковисто-темных штрихах, – туда же стекала наискось золотая струйка цепочки, – вероятно, крестик или медальон, – и уже начинался опять ситец – рукав круто закинутой руки. В который раз нахлынул и взвыл грузовик, наполняя комнату дрожью, – и он остановился в своем обходе, неловко накренившись над ней, невольно вжимаясь в нее зрением и чувствуя, как отроческий, смешанный с русостью запах ее кожи зудом проникает в его кровь. Что мне делать с тобой, что мне с тобой – Девочка во сне вздохнула, разожмурился пупок, и медленно, с воркующим стоном, дыхание выпустила, и этого было достаточно ей, чтобы продолжать дальше плыть в прежнем оцепенении. Он тихонько вытащил из-под ее холодной пятки примятую черную шапочку, – и снова замер с биением в виске, столкками ноющего напряжения, – не смея поцеловать эти угловатые сосцы, эти длинные пальчики ног с желтоватыми ногтями, – отовсюду возвращаясь сходящимися глазами к той же замшевой скважинке, как бы оживавшей под его призматическим взглядом, – и все еще не зная, что предпринять, боясь упустить что-то, до конца не воспользоваться сказочной прочностью ее сна. Духота в комнате и его возбуждение делались невыносимы, он слегка распустил пижамный шнур, впивавшийся в живот, и, скрипнув сухожильем, почти бесплотно скользнул губами там, где виднелась родинка у нее под ребром... но было неудобно, жарко... напор крови требовал невозможного. Тогда, понемножку начав колдовать, он стал поводить магическим жезлом над ее телом, почти касаясь кожи, пытая себя ее притяжением, зримой близостью, фантастическими сопоставлениями, дозволенными сном этой голой девочки, которую он словно мерил волшебной мерой, пока слабым движением она не отвернула лица, едва слышно во сне причмокнув, – и все замерло снова, и теперь он видел промеж коричневых прядей пурпурный ободок уха и ладонь освобожденной руки, забытой в прежнем положении. Дальше, дальше. В скобках сознания, как перед забытьем, мелькали эфемерные околичности, – какой-то мост над бегущими загонами, пузырек воздуха в стекле какого-то окна, погнутое крыло автомобиля, еще что-то, где-то виденное недавно вафельное полотенце, а между тем он медленно, не дыша, подтягивался и вот, соображая все движения, стал пристраиваться, примеряться... под боком опасно поддалась пружина, правый, осторожно похрустывающий локоть искал опоры, взор заволокло туманом тайной сосредоточенности... Он почувствовал пламень ее ладной ляжки, почувствовал, что более сдерживаться не может, что все – все равно, – и по мере того, как между его шерстью и ее бедром закипала сладость, ах, как отрадно раскрепощалась жизнь, упрощаясь до рая, – и еще успев подумать: нет, прошу вас, не убирайте, – он увидел, что, совершенно проснувшись, она диким взглядом смотрит на его вздыбленную наготу.

Мгновенно, в провале синкопы, он увидел и то, чем ей это представилось – каким уродством или страшной болезнью, – или она уже знала, – или все это вместе, – она смотрела и вопила, но волшебник еще не слышал ее вопля, оглушенный собственным ужасом, стоя на коленях, подхватывая складки, ловя шнур, стараясь остановить, спрятать, щелкая скошенной судорогой, бессмысленной, как стук вместо музыки, бессмысленно истекая топленным воском, не успевая ни остановить, ни спрятать. Как она скатилась с постели, как она теперь орала, как убегала лампочка в своем красном куколе, как грохотало за окном, ломая, добывая ночь, все, все разрушая, – «Замолчи, это по-хорошему, такая игра, это бывает, замолчи же», – умолял он, пожилой и потный, прикрываясь мелькнувшим макинтошем, трясясь, надевая, не попадая. Она, как дитя в экранной драме, заслонялась остреньким локтем, вырываясь и продолжая бессмысленно орать, и кто-то бил в стену, требуя невообразимой тишины. Попыталась выбежать из комнаты, не могла отпереть, а он не мог ухватить, не за что, некого, теряла вес, скользкая, как подкидыш, с лиловым задком, с искаженным младенческим личиком, – укатывалась – с порога назад в люльку, из люльки обратным ползком в лоно бурно воскресаящей матери, – «Ты у меня успокойся, – кричал он (толчку, точке, несуществующему). – Хорошо, я уйду, ты у меня –» – справился с дверью, выскочил, оглушительно запер за собой – и, еще слушая, стискивая в ладони ключ, босой, с пятном холода под макинтошем, так стоял, так погружался.

Но из ближнего номера уже появились две старухи в халатах: первая, как негр седая, коренастая, в лазурных штанах, с заокеанским захлебом и токанием – защита животных, женские клубы – приказывала – этуанс[23], этудверь, этусуйть[24], и, царапнув его по ладони, ловко сбила на пол ключ – в продолжение нескольких пружинистых секунд он и она отталкивали друг дружку боками, но все равно все было кончено, отовсюду вытягивались головы, гремел где-то звонок, сквозь дверь мелодичный голос словно дочитывал сказку – белозубый в постели, братья с шапрон-ружьями, – старуха завладела ключом, он быстро дал ей пощечину и побежал, весь звеня, вниз по липким ступеням. Навстречу бодро взбирался брюнет с эспаньолкой в подштанниках, за ним извивалась щуплая блудница – мимо; дальше – поднимался призрак в желтых сапогах, дальше – старик раскорякой, жадный жандарм – мимо; и, оставив за собой множество пар ритмических рук, гибко протянутых в пригласительном всплеске через перила, – он, пируэтом, на улицу, – ибо все было кончено, и любым изворотом, любым содроганием надо было тотчас отделаться от ненужного, досмотренного, глупейшего мира, на последней странице которого стоял одинокий фонарь с затушеванной у подножья кошкой. Ощущая босоту уже как провал в другое, он понесся по пепельной панели, преследуемый топотом вот уже отстающего сердца, и самым последним к топографии бывшего обращением было немедленное требование потока, пропасти, рельсов, – все равно как, – но тотчас. Когда же завыло впереди, за горбом боковой улицы, и выросло, одолев подъем, распирая ночь, уже озаряя спуск двумя овалами желтоватого света, готовое низринуться, – тогда, как бы танцуя, как бы вынесенный трепетом танца на середину сцены, – под это растущее, руплегрохотный ухмыш, краковяк, громовое железо, мгновенный кинематограф терзаний, – так его, забирай под себя, рвякай хрупь, – плашмя приклепнутым лицом я еду, – ты, коловратное, не растаскивай

по кускам, ты, кромсающее, с меня довольно, – гимнастика молнии, спектрограмма громовых мгновений, – и пленка жизни лопнула.

В. Сирин

Париж

Октябрь – ноябрь 1939 г.

Solus Rex

От автора[25]

Зимний сезон 1939–40 годов стал последним для моей русской прозы. Весной я уехал в Америку, где мне предстояло провести кряду двадцать лет, сочиня художественные произведения исключительно по-английски. Среди написанного в те прощальные парижские месяцы был роман, который я не закончил до отъезда и к которому больше не возвращался. За вычетом двух глав и нескольких заметок, эту недописанную вещь я уничтожил. Первая глава, под названием «Ultima Thule», была напечатана в 1942 году («Новый журнал», № 1, Нью-Йорк); глава вторая, «Solus Rex», вышла ранее, в начале 1940 года («Современные записки», № 70, Париж). Английский перевод, сделанный с моим участием моим сыном в феврале 1971 года, дотошно верен оригиналу, включая восстановление сцены, замененной в «Современных записках» рядом отточий[26].

Быть может, закончи я мой роман, читателям не пришлось бы ломать голову над несколькими загадками: был ли Фальтер шарлатаном? Был ли он истинным провидцем? Был ли он медиумом, использованным покойной женой рассказчика, как знать, чтобы передать смутное содержание фразы, то ли узнанной, то ли не узнанной ее мужем? Как бы там ни было, одно ясно вполне. По мере развертывания воображаемой страны (что на первых порах лишь отвлекало его от горя, но затем переросло в самостоятельное творческое наваждение) вдовец так глубоко уходит в Thule, что она начинает обретать свою собственную реальность. В первой главе Синеусов говорит, что он переезжает с Ривьеры в свою старую парижскую квартиру; на самом же деле он перебирается в мрачный дворец на далеком северном острове. Его искусство помогает ему воскресить жену в облике королевы Белинды – жалкое свершение, не позволяющее ему восторжествовать над смертью даже в мире свободного вымысла. В третьей главе ей предстояло вновь умереть – от бомбы, предназначенной для ее мужа, – на новом мосту через Эгель, спустя несколько минут после возвращения с Ривьеры. Вот, пожалуй, и все, что я могу разглядеть сквозь пыль и обломки моих старых вымыслов.

Два слова о Кр. У переводчиков возникли определенные трудности с этим обозначением, потому что в том смысле, в каком оно употреблено здесь, русское слово «король» сокращается как «Кр.», а в английском языке этот смысл передается при помощи одной только буквы «К» (от слова «king»). Коротко говоря, мой К. (в переводе) относится к шахматной фигуре, а не к фигуре какого-нибудь карлиста. Что касается заглавия отрывка, позволю себе процитировать «Термины и темы шахматных задач» Блэкберна (Лондон, 1907): «Если единственной черной фигурой на доске является король, такая задача относится к типу “Solus Rex”»[27].

Принц Адульф, наружность которого я почему-то представлял себе схожей с обликом С. П. Дягилева (1872–1929), остается одним из моих любимых персонажей в частном музее набитых ватой человеческих фигур, который имеется где-нибудь во владениях всякого благодарного писателя. Не помню подробностей смерти бедного Адульфа, кроме той, что Сиен со своими приспешниками прикончил его каким-то ужасным, неуклюжим способом ровно за пять лет до торжественного открытия Эгельского моста.

Фрейдистов, судя по всему, поблизости нет, поэтому мне не нужно предупреждать их, чтобы они не трогали мои круги своими символами. С другой стороны, хороший читатель, безусловно, различит искаженные отзвуки этого моего последнего русского романа в моих английских вещах – «Под знаком незаконнорожденных» (1947) и особенно в «Бледном огне» (1962); я нахожу эти отзвуки немного докучными, но что действительно заставляет меня сожалеть о его незавершенности, это то, что по своему колориту, по стилистическому размаху и избытию, по чему-то неопределяемому в его мощном глубинном течении, он обещал решительно отличаться от всех других моих русских сочинений. Английский перевод «Ultima Thule» был напечатан в «Нью-Йоркере» 7 апреля 1973 года[28].

#### <Глава I>. Ultima Thule[29]

Помнишь, мы как-то завтракали (принимали пищу) года за два до твоей смерти? Если, конечно, память может жить без головного убора. Кстатическая мысль: вообразим новейший письмовник. К безрукому: крепко жму вашу (многоточие). К покойнику: призрачно ваш. Но оставим эти виноватые виньетки. Если ты не помнишь, то я за тебя помню: память о тебе может сойти, хотя бы грамматически, за твою память, и ради крашеного слова вполне могу допустить, что если после твоей смерти я и мир еще существуем, то лишь благодаря тому, что ты мир и меня вспоминаешь. Сейчас обращаюсь к тебе вот по какому поводу. Сейчас обращаюсь к тебе вот по какому случаю. Сейчас обращаюсь к тебе только затем, чтобы поговорить с тобой о Фальтере. Вот судьба! Вот тайна! Вот почерк! Когда мне надоеда-ет уверять себя, что он полоумный или квак (как, на английский лад, ты звала

шарлатанов[30]), я вижу в нем человека, который... который... потому что его не убила бомба истины, разорвавшаяся в нем... вышел в боги! – и как же ничтожны перед ним все прозорливцы прошлого: пыль, оставляемая стадом на вечерней заре, сон во сне (когда снится, что проснулся), первые ученики в нашем герметически закрытом учебном заведении: он–то вне нас, в яви, – вот раздутое голубиное горло змеи, чарующей меня. Помнишь, мы как–то завтракали в ему принадлежавшей гостинице, на роскошной, многоярусной границе Италии, где асфальт без конца умножается на глицинии и воздух пахнет резиной и раем? Адам Фальтер тогда был еще наш, и если ничто в нем не предвещало – как это сказать? – скажу: прозрения, – зато весь его сильный склад (не хрящи, а подшипники, карамбольная связность телодвижений, точность, орлиный холод) теперь, задним числом, объясняет то, что он выжил: было из чего вычитать.

О, моя милая, как улыбнулось тобой с того лукоморья, – и никогда больше, и кусаю себе руки, чтобы не затрястись, и вот не могу, съезжаю, плачу на тормозах, на б и на у, и все это такая унижительная физическая чушь: горячее мигание, чувство удушья, грязный платок, судорожная, вперемежку со слезами, зевота, – ах, не могу без тебя... и, высморкавшись, переглотив, вот опять начинаю доказывать стулу, хватая его, столу, стуча по нему, что без тебя не бобу. Слышишь ли меня? Банальная анкета, на которую не откликаются духи, – но как охотно за них отвечают односмертники наши; я знаю! (пальцем в небо) вот позвольте я вам скажу... Милая твоя голова, ручеек виска, незабудочная серость косящего на поцелуй глаза, тихое выражение ушей, когда поднимала волосы, – как мне примириться с исчезновением, с этой дырой в жизни, куда все теперь осыпается, скользит, вся моя жизнь, мокрый гравий, предметы, привычки... и какая могильная ограда может помешать мне тихо и сытно повалиться в эту пропасть. Душекружение. Помнишь, как тотчас после твоей смерти я выбежал из санатория и не шел, а как–то притоптывал и даже пританцовывал (прищемив не палец, а жизнь), один на той витой дороге между чрезвычайно чешуйчатых сосен и колючих щитов агав, в зеленом бронированном мире, тихонько подтягивавшем ноги, чтобы от меня не заразиться. О да, всё кругом опасливо и внимательно молчало, и только когда я смотрел на что–нибудь, это что–нибудь, спохватившись, принималось делано двигаться, или шелестеть, или жужжать, словно не замечая меня. «Равнодушная природа» – какой вздор! Сплошное чурание, вот это вернее.

Жалко же. Такая была дорогая. И держась снутри за тебя, за пуговку, наш ребенок за тобой последовал. Но, мой бедный господин, не делают женщине брюха, когда у нее горловая чахотка. Невольный перевод с французского на адский. Умерла ты на шестом своем месяце и унесла остальные, как бы не погасив полностью долга. А как мне хотелось, сообщил красноносый вдовец стенам, иметь от нее ребеночка. *Êtes-vous tout à fait certain, docteur, que la science ne connaît pas de ces cas exceptionnels où l'enfant naît dans la tombe?*[31] И сон, который я видел: будто этот чесночный доктор (он же не то Фальтер, не то Александр Васильевич) необыкновенно охотно отвечал, что да, как же, это бывает, и таких (т. е. посмертно рожденных) зовут трупсиками.

Ты–то мне еще ни разу с тех пор не приснилась. Цензура, что ли, не

пропускает, или сама уклоняешься от этих тюремных со мной свиданий. Первое время я суеверно, унизительно, подлый невежда, боялся тех мелких тресков, которые всегда издает комната по ночам, но которые теперь страшной вспышкой отражались во мне, ускоряя бег кудахтающего низкокрылого сердца. Но еще хуже были ночные ожидания, когда я лежал и старался не думать, что ты вдруг можешь мне ответить стуком, если об этом подумаю, но это значило только усложнять скобки, фигурные после простых (думал о том, что стараюсь не думать), и страх в середине рос да рос. Ах, как был ужасен этот сухонький стук ноготка внутри столешницы и как не похож, конечно, на интонацию твоей души, твоей жизни. Вульгарный дух с повадками дятла или бесплотный шалун, призрак-пошляк, который пользуется моим голым горем. Днем же, напротив, я был смел, я вызывал тебя на любое проявление отзывчивости, пока сидел на камушках пляжа, где когда-то вытягивались твои золотые ноги, – и, как тогда, волна прибегала, запыхавшись, но, так как ей нечего было сообщить, рассыпалась в извинениях. Камни, как кукушкины яйца, кусок черепицы в виде пистолетной обоймы, осколок топазового стекла, что-то вроде мочального хвоста, совершенно сухое, мои слезы, микроскопическая бусинка, коробочка из-под папирос, с желтобородым матросом в середине спасательного круга, камень, похожий на ступню помпеянца, чья-то косточка или шпатель, жестянка из-под керосина, осколок стекла гранатового, ореховая скорлупа, безотносительная ржавка, фарфоровый иверень, – и где-то ведь непременно должны были быть остальные, дополнительные к нему части, и я воображал вечную муку, каторжное задание, которое служило бы лучшим наказанием таким, как я, при жизни слишком далеко забегавшим мыслью, а именно: найти и собрать все эти части, чтобы составить опять тот соусник, ту супницу, – горбатые блуждания по дико туманным побережьям, а ведь если страшно повезет, то можно в первое же, а не триллионное утро целиком восстановить посудину, – и вот он, этот наимучительнейший вопрос везения, лотерейного счастья, – того самого билета, без которого, может быть, не дается благополучия в вечности.

В эти ранние весенние дни узенькая полоса гальки проста и пуста, но по набережной надо мной проходили гуляющие, и кто-нибудь, я думаю, говорил, глядя на мои лопатки: вот художник Синеусов, на днях потерявший жену. И вероятно, я бы так просидел вечно, ковыряя сухой морской брак, глядя на спотыкавшуюся пену, на фальшивую нежность длинных серийных облачков вдоль горизонта и на темно-лиловые тепловые подточины в студеной синезелени моря, если бы действительно кто-то с панели меня не узнал.

Но (путаясь в рваных шелках слога) возвращаюсь к Фальтеру. Как ты теперь вспомнила, мы однажды отправились туда, ползя в этот жарчайший день как два муравья по ленте цветочной корзины, потому что мне было любопытно взглянуть на бывшего моего репетитора, уроки которого сводились к остроумной полемике с Краевичем[32], а сам был упругий и опрятный, с большим белым носом и лаковым пробором; по этой прямой дорожке он потом и пошел к коммерческому счастью, а отец его, Илья Фальтер, был всего лишь старшим поваром у Менара, повар ваш Илья на боку[33]. Ангел мой, ангел мой, может быть, и все наше земное ныне кажется тебе каламбуром, вроде «ветчины и вечности» (помнишь?), а настоящий смысл сущего, этой пронзительной

фразы, очищенной от странных, сонных, маскарадных толкований, теперь звучит так чисто и сладко, что тебе, ангел, смешно, как это мы могли сон принимать всерьез (мы-то, впрочем, с тобой догадывались, почему все рассыпается от прикосновения исподтишка: слова, житейские правила, системы, личности, – так что, знаешь, я думаю, что смех – это какая-то потерянная в мире случайная обезьянка истины).

И вот я увидел его опять после двадцатилетнего, что ли, перерыва, и оказалось, что я правильно делал, когда, приближаясь к гостинице, трактовал все ее классические прикрасы – кедр, эвкалипт, банан, терракотовый теннис, автомобильный загон за газоном – как церемониал счастливой судьбы, как символ тех поправок, которых требует теперь прошлый образ Фальтера. За годы разлуки со мной, вполне нечувствительной для обоих, он из бедного жилистого студента с живыми как ночь глазами и красивым, крепким, налево накрененным почерком превратился в осанистого, довольно полного господина, сохранив при этом и живость взгляда, и красоту крупных рук, но только я бы никогда не узнал его со спины, т. к. вместо толстых гладких, в скобку остриженных волос виднелась посреди черного пуха коричневая от загара плешь почти иезуитской формы. В шелковой, цвета пареной репы рубашке, с клетчатым галстуком, в широких гриперловых [34] панталонах и пегих туфлях, он показался мне ряженым, но большой нос был все тот же, и им-то он безошибочно почуял тонкий запах прошлого, когда, подойдя, я хлопнул его по мускулистому плечу и задал ему мою загадку. Ты стояла чуть поодаль, сдвинув голые лодыжки на кубовых каблуках и сдержанно, с лукавым интересом оглядывая обстановку громадного, пустого в этот час холля [35], гиппопотамовую кожу кресел, строгого стиля бар, английские журналы на стеклянном столе, нарочито простые фрески, изображающие жидкогрудых бронзоватых дев на золотом фоне, одна из которых, с параллельными прядями стилизованных волос, спадающих вдоль щеки, почему-то стояла на одном колене. Могли ли мы думать, что хозяин всей этой красоты когда-нибудь перестанет ее видеть? Ангел мой... Пока что, приняв мои руки в свои, сжимая их, морща переносицу и вглядываясь в меня темными прищуренными глазами, он выдерживал ту паузу, прерывающую жизнь, которую выдерживает собирающийся чихнуть, не совсем еще зная, удастся ли это, – но вот удалось, вспыхнуло прошлое, и он громко назвал меня по имени. Он поцеловал твою ручку, не наклоняя головы, и, благожелательно засуетясь, явно наслаждаясь тем, что я, бывший человек, теперь застал его в полном блеске той жизни, которую он сам создал силой своей ваятельской воли, усадил нас на террасе, заказал коктейли и завтрак, познакомил нас со своим зятем, интеллигентным человеком в темном партикулярном платье, странно отличавшемся от экзотического франтовства самого Фальтера. Мы попили, поели, поговорили о прошлом, как о тяжелобольном, мне удалось сбалансировать нож на спинке вилки, ты приласкала чудную нервную собаку, явно боявшуюся хозяина, – и после минуты молчания, среди которого Фальтер вдруг отчетливо сказал «Да», словно кончая консилиум, расстались, пообещав друг другу то, что ни он, ни я не собирались сдержать.

Ты ничего не нашла замечательного в нем, не правда ли? И точно, ух как заезжен этот тип, в серой молодости содержавший спившегося отца при помощи уроков, а затем медленно, упрямо и бодро добившийся

благосостояния, ибо, кроме не очень доходной гостиницы, у него были виноторговые дела, шедшие весьма успешно. Но как я потом понял, ты была не права, когда говорила, что это скучновато, что от таких энергичных удачников всегда несет потом. Нет, теперь я безумно завидую основной черте бывшего Фальтера, точности и крепости его «волевой субстанции», как, помнишь, совсем по другому поводу выражался бедный Адольф [36]. Сидел ли он в окопе или в канцелярии, спешил ли на поезд, вставал ли в темное утро в нетопленной комнате, налаживал ли деловые связи, преследовал ли кого-нибудь дружбой или враждой, он не только всегда владел всеми своими способностями, не только всегда жил со взведенным курком, но всегда был уверен, что сегодняшней и завтрашней и всей череды постепенных своих целей он добьется непременно, и притом работал экономно, ибо метил невысоко и точно знал границу своих возможностей. Его главная заслуга перед собой та, что он сознательно обходил собственные таланты, делая ставку на дюжинное, общепринятое, а ведь он был одарен странными, чем-то обаятельными способностями, которые другой, менее осмотрительный, постарался бы практически применить. Пожалуй, только еще в самой молодости он не всегда умел сдержаться и мешал казенное натаскивание гимназиста по казенному предмету с необыкновенно изящными проявлениями математической мысли, оставлявшими в моей классной какой-то холодок поэзии, когда он, спеша, уходил. Я с завистью думаю, что, обладай я крепостью его нервов, упругостью души, сгущенностью воли, он бы теперь мне передал сущность нечеловеческого открытия, сделанного недавно им, т. е. не боялся бы, что его сообщение меня раздавит; я же со своей стороны был бы достаточно упорен, чтобы заставить его все сказать до конца.

С набережной сипловато и деликатно кто-то меня окликнул, но, так как со дня нашего завтрака с Фальтером прошло больше года, я не сразу узнал в человеке, бросившем на мои камни тень, его смиренного зятя. Из машинальной вежливости я поднялся к нему на панель, и он выразил мне свое болезненное, соболиное: случайно-де заглянул в мой пансион, где добрые люди не только сообщили ему о твоей смерти, но издали указали ему на мою фигуру среди пустого пляжа, – фигуру, ставшую некоторого рода достопримечательностью (мне на минуту стало стыдно, что горб моего горя виден со всех террас).

– Мы познакомились у Адама Ильича, – сказал он, показывая корешки резцов и занимая свое место в моем вялом сознании. Я, должно быть, что-то спросил про Фальтера.

– Как, вы разве не знаете? – удивился болтун, и тогда-то я узнал всю историю.

Как-то прошлой осенью Фальтер отправился по делу в винограднейший из приморских городов и, как обыкновенно, остановился в тихом маленьком отеле, хозяин которого был его давним должником. Надо себе представить этот отель, расположенный под перистой мышкой холма, поросшего мимозником, и не полностью застроенную улочку с полдюжиной каменных дачек, где пели радиолы в небольшом человеческом пространстве между Млечным Путем и олеандровой дремой, и пустыри, где вырабатывали свой ночной цинк кузнечики, и растворенное окно Фальтера в третьем этаже. Проведя гигиенический вечер в небольшом

женском общежитии на Бульваре Взаимности, он, в отличном настроении, с ясной головой и легкими чреслами, вернулся около одиннадцати в отельчик и сразу поднялся к себе. Пепельное от звезд чело ночи, тихо-безумное ее выражение, роение огней в старом городе, забавная математическая задача, по поводу которой он в прошлом году переписывался со шведским ученым, сухой и сладкий запах, как бы сидящий без мысли и дела там и сям в ямах мрака, метафизический вкус удачно купленного и перепроданного вина, на днях полученное из далекого, малособлазнительного государства известие о смерти единоутробной сестры, образ которой давно увял в памяти, – все это, мне так представляется, плыло в сознании у Фальтера, пока он шел по улице и потом поднимался к себе, и хотя в отдельности эти мысли и впечатления ничуть не были какими-либо новыми или особенными для этого крепконосного, не совсем заурядного, но поверхностного человека (ибо по своей человеческой сути мы делимся на профессионалов и любителей, – Фальтер, как и я, был любитель), они в своей совокупности образовали, быть может, наиболее благоприятную среду для вспышки, для катастрофической, как главный выигрыш, чудовищно случайной, никак не предсказанной обиходом его рассудка, сверхжизненной молнии, поразившей его в ту ночь в том отеле.

Минуло около получаса со времени его возвращения, когда собранный сон небольшого белого дома, едва зыблившийся антикомариным крепком да ползучим цветком, был внезапно – нет, не нарушен, а разъят, расколот, взорван звуками, оставшимися незабвенными для слышавших, дорогая моя, эти звуки, эти ужасные звуки. То были не свинные вопли неженки, торопливыми злодеями убиваемого в канаве, и не рев раненого солдата, которого озверелый хирург кое-как освобождает от гигантской ноги, они были хуже, о, хуже... и если уж сравнивать, говорил потом м-сье Раон, *hôteleur*[37], то, пожалуй, они скорее всего напоминали захлебывающиеся, почти ликующие крики бесконечно тяжело рожающей женщины, но женщины с мужским голосом и с великаном во чреве. Трудно было разобрать, какая главенствовала нота среди этой бури, разрывавшей человеческую гортань, – боль, или страх, или труба безумия, или же, и последнее вернее всего, выражение чувства неведомого, и оно-то наделяло вой, вырывающийся из комнаты Фальтера, чем-то, что возбуждало в слушателях паническое желание немедленно это прервать. Молодожены в ближайшей постели остановились, параллельно скосив глаза и затаив дыхание, голландец, живший внизу, выкатился в сад, где уже находились экономка и восемнадцать белевшихся горничных (всего две, размноженные перебежками). Хозяин, сохранивший, по его словам, полное присутствие духа, кинулся наверх и удостоверился, что дверь, за которой продолжался ураган криков, столь мощный, что против него было трудно идти, снутри заперта и не открывается ни на стук, ни на слово. Орущий Фальтер (поскольку можно было догадываться, что орет именно он, – его отворенное окно было темно, а невыносимые звуки, исходившие оттуда, не носили печати чьей-либо личности) распространялся далеко за пределы дома, и в окрестной черноте набирались соседи, у одного негодяя было пять карт в руке, все козыри. Теперь уже совсем нельзя было постигнуть, как могли чьи бы то ни было связи выдержать... по одним сведениям, Фальтер кричал около четверти часа, по другим, пожалуй более достоверным, минут пять подряд. Вдруг (покамест хозяин решал вопрос, взломать ли общими усилиями дверь, приставить ли лестницу извне, или

вызвать полицию) крики, достигнув последнего предела муки, ужаса, изумления и того, что никак нельзя было определить, превратились в какое-то месиво стонов и оборвались. Настала такая тишина, что в первую минуту присутствующие переговаривались шепотом.

На всякий случай хозяин опять постучал в дверь, из-за нее донеслись вздохи, неверные шаги, потом стало слышно, как кто-то тербит замок, словно не умея отпереть. Слабый, мягкий кулак зашмякал изнутри. Тогда хозяин сделал то, что, собственно говоря, мог бы сделать гораздо раньше: нашел другой подходящий ключ и отпер.

– Света бы, – тихо сказал Фальтер в темноте.

Мельком подумав, что он во время припадка разбил лампу, хозяин машинально проверил выключатель... но послушно отверзся свет, и Фальтер, мигая, с болезненным удивлением перебежал глазами от руки, давшей свет, к налившейся стеклянной груше, точно впервые видел, как это делается.

Странная, противная перемена произошла во всей его внешности: казалось, из него вынули костяк. Потное и теперь как бы обрюзгшее лицо с отвисшей губой и розовыми глазами выражало не только тупую усталость, но еще облегчение, животное облегчение после чудовищных родов. По пояс обнаженный, в одних пижамных штанах, он стоял опустив лицо и тер ладонью одной руки тыльную сторону другой. На естественные вопросы хозяина и жильцов он ничего не ответил, только надул щеки, отстранил подошедших и, выйдя из комнаты, стал обильно мочиться прямо на ступени лестницы. Затем лег на постель и заснул.

Утром хозяин предупредил по телефону его сестру, что Фальтер помешался, и, полусонный, вялый, он был увезен восвояси. Врач, обычно лечивший у них, предположил наличие ударчика и прописал соответствующее лечение. Но Фальтер не поправился. Правда, он через некоторое время начал свободно двигаться, и даже иногда посвистывать, и громко говорить оскорбительные вещи, и хватать еду, запрещенную врачом. Перемена, однако, осталась. Это был человек, как бы потерявший все: уважение к жизни, всякий интерес к деньгам и делам, общепринятые или освященные традиции, чувства, житейские навыки, манеры, решительно все. Его было небезопасно отпускать куда-либо одного, ибо с совершенно поверхностным, быстро забываемым, но обидным для других любопытством он заговаривал со случайными прохожими, расспрашивал о происхождении шрама на чужом лице или о точном смысле слов, подслушанных в разговоре, не обращенном к нему. Мимоходом он брал с лотка апельсин и ел его с кожей, равнодушной полуулыбкой отвечая на скороговорку его догнавшей торговли. Утомясь или заскучав, он присаживался по-турецки на панель и старался от нечего делать поймать в кулак женский каблук, как муху. Однажды он присвоил себе несколько шляп, пять фетровых и две панамы, которые старательно собирал по кафе, – и были неприятности с полицией.

Его состоянием заинтересовался какой-то известный итальянский психиатр, навещавший кого-то в Фальтеровой гостинице. Это был не старый еще господин, изучавший, как он сам охотно толковал, «динамику душ», и в печатных работах, весьма популярных не в одних

научных кругах, доказывавший, что все психические заболевания объяснимы подсознательной памятью о несчастьях предков пациента и что если больной страдает, скажем, мегаломанией, то для полного его излечения стоит лишь установить, кто из его прадедов был властолюбивым неудачником, и правнуку объяснить, что пращур умер, навсегда успокоившись, хотя в сложных случаях приходилось прибегать чуть ли не к театральному, в костюмах эпохи, действию, изображающему определенный род смерти предка, роль которого давалась пациенту. Эти живые картины так вошли в моду, что профессору пришлось печатно объяснять публике опасность их постановки вне его непосредственного контроля.

Порасспросив сестру Фальтера, итальянец выяснил, что предков своих Фальтеры не знают, их отец, правда, был не прочь напиться пьяным, но так как по теории «болезнь отражает лишь давно прошедшее», как, скажем, народный эпос сублимирует лишь давние дела, подробности о Фальтере-rège[38] были ему не нужны. Все же он предложил, что попробует заняться больным, надеясь путем остроумных расспросов добиться от него самого объяснения его состояния, после чего предки выведутся из суммы сами; что такое объяснение существовало, подтверждалось тем, что когда удавалось близким проникнуть в молчание Фальтера, он кратко и отстранительно намекал на нечто из ряда вон выходящее, испытанное им в ту непонятную ночь.

Однажды итальянец уединился с Фальтером в комнате последнего и, так как был сердцевед опытный, в роговых очках и с платочком в грудном карманчике, по-видимому, добился от него исчерпывающего ответа о причине его ночных воплей. Вероятно, дело не обошлось без гипнотизма, так как Фальтер потом уверял следователя, что проговорился против воли и что ему было не по себе. Впрочем, он добавил, что все равно, рано или поздно, произвел бы этот опыт, но что уж наверное никогда его не повторит. Как бы то ни было, бедный автор «Героики Безумия» оказался жертвой Фальтеровой медузы. Так как задушевное свидание между врачом и пациентом неестественно затянулось, сестра Фальтера, вязавшая серый шарф на террасе и уж давно не слышавшая разымчивого[39], молодецкого или фальшиво-вкрадчивого тенорка, невнятно доносившегося вначале из полуоткрытого окошка, поднялась к брату, которого нашла рассматривающим со скучным любопытством рекламную брошюрку с горно-санаторскими видами, вероятно принесенную врачом, между тем как сам врач, наполовину съехавший с кресла на ковер, с интервалом белья между жилетом и панталонами, лежал, растопырив маленькие ноги и откинув бледно-кофейное лицо, сраженный, как потом выяснилось, разрывом сердца. Деловито вмешавшимся полицейским властям Фальтер отвечал рассеянно и кратко; когда же наконец эти приставания ему надоели, он объяснил, что, случайно разгадав «загадку мира», он поддался изощренным увещаниям и поведал ее любознательному собеседнику, который от удивления и помер. Газеты подхватили эту историю, соответственно ее изукрасив, и личность Фальтера, переодетая тибетским мудрецом, в продолжение нескольких дней подкармливала непривередливую хронику.

Но, как ты знаешь, я в те дни газет не читал: ты тогда умирала. Теперь же, выслушав подробный рассказ о Фальтере, я испытал некое весьма сильное и слегка как бы стыдное желание[40].

Ты, конечно, понимаешь. В том состоянии, в котором я был, люди без воображения, т. е. лишенные его поддержки и изысканий, обращаются к рекламным волшебникам, к хиромантам в маскарадных тюрбанах, промышляющим промеж магических дел крысиным ядом или розовой резиной, к жирным смуглым гадалкам, – но особенно к спиритам, подделывающим неизвестную еще энергию под млечные черты призраков и глупо–предметные их выступления. Но я воображением наделен, и потому у меня были две возможности: первая из них была моя работа, мое искусство, утешение моего искусства; вторая заключалась в том, чтобы вдруг взять да поверить, что довольно, в сущности, обыкновенный, несмотря на «пти–жѐ»[41] бывалого ума, и даже чуть вульгарный человек вроде Фальтера действительно и окончательно узнал то, до чего ни один пророк, ни один волшебник никогда–никогда не мог додуматься.

Искусство мое? Ты помнишь, не правда ли, этого странного шведа, или датчанина, или исландца, чорт его знает, словом, этого длинного, оранжево–загорелого блондина с ресницами старой лошади, который рекомендовался мне «известным писателем» и заказал мне за гонорар, обрадовавший тебя (ты уже не вставала с постели и не могла говорить, но писала мне цветным мелком на грифельной дощечке смешные вещи, вроде того, что больше всего в жизни ты любишь «стихи, полевые цветы и иностранные деньги»), заказал мне, говорю я, серию иллюстраций к поэме «Ultima Thule», которую он на своем языке только что написал. О том же, чтобы мне подробно ознакомиться с его манускриптом, не могло быть, конечно, речи, так как французский язык, на котором мы мучительно переговаривались, был ему знаком больше понаслышке и перевести мне свои символы он не мог. Мне удалось понять только, что его герой – какой–то северный король, несчастный и нелюдимый; что в его государстве, в тумане моря, на грустном и далеком острове, развиваются какие–то политические интриги, убийства, мятежи, серая лошадь, потеряв всадника, летит в тумане по вереску... Моим первым blanc et noir[42] он остался доволен, и мы условились о темах остальных рисунков. Так как он не явился через неделю, как обещал, я к нему позвонил в гостиницу и узнал, что он отбыл в Америку.

Я от тебя тогда скрыл исчезновение работодателя, но рисунков не продолжал, да и ты уже была так больна, что не хотелось мне думать о моем золотом пере и кружевной туши. Но когда ты умерла, когда ранние утра и поздние вечера стали особенно невыносимы, я с жалкой болезненной охотой, сознавание которой вызывало у меня самого слезы, продолжал работу, за которой, я знал, никто не придет, но именно потому она мне казалась кстати, – ее призрачная беспредметная природа, отсутствие цели и вознаграждения, уводила меня в родственную область с той, в которой для меня пребываешь ты, моя призрачная цель, мое милое, мое такое милое земное творение, за которым никто никуда никогда не придет; а так как все отвлекало меня, подсовывая мне краску временности взамен графического узора вечности, муча меня твоими следами на пляже, камнями на пляже, твоей синей тенью на ужасном солнечном пляже, я решил вернуться в Париж, чтобы по–настоящему засесть за работу. «Ultima Thule», остров, родившийся в пустынном и тусклом море моей тоски по тебе, меня теперь привлекал как некое отечество моих наименее выразимых мыслей.

Однако, прежде чем оставить юг, я должен был непременно повидать Фальтера. Это была вторая помощь, которую я придумал себе. Мне удалось себя убедить, что он все-таки не просто сумасшедший, что он не только верит в открытие, сделанное им, но что именно это открытие – источник его сумасшествия, а не наоборот. Я узнал, что на осень он переехал в наши места. Я узнал также, что его здоровье слабо, что пыл жизни, угасший в нем, оставил его тело без присмотра и без поощрения; что, вероятно, он скоро умрет. Я узнал, наконец, и это мне было особенно важно, что последнее время, несмотря на упадок сил, он стал необыкновенно разговорчив и целыми днями угощает посетителей – а к нему, увы, проникали другого рода любопытные, чем я, – придирчивыми к механике человеческой мысли, странно извилистыми, ничего не раскрывающими, но по ритму и шипам почти сократовскими разговорами. Я предложил, что посету его, но его зять мне ответил, что бедняге приятно всякое развлечение и что он достаточно силен, чтобы добраться до моего дома.

И вот они явились, т. е. этот самый зять в своем неизменном черном костюмчике, его жена (рослая, молчаливая женщина, крепостью и отчетливостью телосложения напоминавшая прежний облик брата и теперь как бы служившая ему житейским укором, смежной нравоучительной картинкой) и сам Фальтер... вид которого меня поразил, несмотря на то что я был к перемене подготовлен. Как бы это выразить? Зять говорил, что из Фальтера словно извлекли скелет; мне же показалось иначе: что вынули душу, но зато удесятерили в нем дух. Я хочу этим сказать, что одного взгляда на Фальтера было довольно, чтобы понять, что никаких человеческих чувств, практикуемых в земном быту, от него не дождешься, что любить кого-нибудь, жалеть, даже только самого себя, благоволить к чужой душе и ей сострадать при случае, посильно и привычно служить добру, хотя бы собственной пробы, – всему этому Фальтер совершенно разучился, как разучился здороваться или пользоваться платком. А вместе с тем он не производил впечатления умалишенного – о нет, совсем напротив! – в его странно рассыревших чертах, в неприятном сытом взгляде, даже в плоских ногах, обутом уже не в модные башмаки, а в дешевые провансальские туфли на веревочных подошвах, чуялась какая-то сосредоточенная сила, и этой силе не было никакого дела до дряблости и явной тленности тела, которым она брезгливо руководила.

В личном отношении ко мне он был теперь не таков, как во время последней короткой нашей встречи, а таков, каким я его помнил по нашим урокам в юности. Не сомневаюсь, что он отлично сознавал, что в календарном смысле с тех пор прошло почти четверть века, а все же, как бы вместе с душой потеряв чувство времени (без которого душа не может жить), он не столько на словах, а в рассуждении всей манеры, явно относился ко мне так, как если бы все это было вчера, – и вместе с тем ни малейшей симпатии ко мне, никакого тепла, ничего, ни пылинки.

Его усадили в кресло, и он странно развалился в нем, как рассаживается шимпанзе, которого сторож заставляет пародировать сибарита. Его сестра занялась вязанием и во все время разговора ни разу не приподняла седой стриженной головы. Ее муж вынул из кармана

две газеты, местную и марсельскую, и тоже онемел. Только когда Фальтер, заметя твою большую фотографию, случайно стоявшую как раз на линии его взгляда, спросил, где же ты, зять, не отрываясь от газеты, неестественно громко, как говорят с глухими, проговорил:

– Вы же отлично знаете, что она умерла.

– Ах да, – заметил Фальтер с нечеловеческой беспечностью и, обратившись ко мне, добавил: – Что же, царствие ей небесное, – так, кажется, полагается в обществе говорить?

Затем началась следующая между нами беседа; я записал ее по памяти, но, кажется, верно:

– Мне хотелось вас повидать, Фальтер, – сказал я (называя его на самом деле по имени-отчеству, но, при переносе, его вневременный образ не терпит этого прикрепления человека к определенной стране и кровному прошлому), – мне хотелось вас повидать, чтобы поговорить с вами откровенно. Если бы вы сочли возможным попросить ваших родственников нас оставить вдвоем...

– Они не в счет, – отрывисто заметил Фальтер.

– Под откровенностью, – продолжал я, – мной подразумевается взаимная возможность задавать любые вопросы и готовность отвечать на них. Но так как вопросы буду ставить я, а ответов ожидаю от вас, то все зависит от того, даете ли вы мне гарантию вашей прямоты; моя вам не требуется.

– На прямой вопрос отвечу прямо, – сказал Фальтер.

– В таком случае позвольте бить в лоб. Мы попросим ваших родственников на минуточку выйти, и вы скажете мне дословно то, что вы сказали итальянскому врачу.

– Вот тебе раз, – проговорил Фальтер.

– Вы не можете мне отказать в этом. Во-первых, я от вашего сообщения не умру, – ручаюсь; вы не смотрите, что у меня усталый невзрачный вид, сил найдется достаточно. Во-вторых, я обещаю вашу тайну держать при себе и даже, если хотите, застрелиться тотчас после вашего сообщения. Видите, я допускаю, что моя болтливость вам может быть еще неприятнее, чем моя смерть. Ну так как же, согласны?

– Решительно отказываюсь, – ответил Фальтер и скинул со стоявшего рядом с ним столика мешавшую ему облокотиться книгу.

– Ради того, чтобы как-нибудь завязать разговор, я временно примирюсь с вашим отказом. Начнем же с яйца. Итак, Фальтер, вам открылась сущность вещей.

– После чего точка, – вставил Фальтер.

– Согласен: вы мне ее не скажете; все же я делаю два важных вывода:

у вещей есть сущность, и эта сущность может открыться уму.

Фальтер улыбнулся:

– Только не называйте это выводами, синьор. Это так – полустанки. Логические рассуждения очень удобны при небольших расстояниях, как пути мысленного сообщения, но круглота земли, увы, отражена и в логике: при идеально последовательном продвижении мысли вы вернетесь к отправной точке... с сознанием гениальной простоты, с приятнейшим чувством, что обняли истину, между тем как обняли лишь самого себя. Зачем же пускаться в путь? Ограничьтесь этим положением – открылась сущность вещей, – в котором, впрочем, уже допущена вами ошибка; я объяснить ее вам не могу, так как малейший намек на объяснение уже был бы проблеском. При неподвижности положения ошибка незаметна. Но все, что вы зовете выводом, уже вскрывает порок: развитие роковым образом становится свитком.

– Хорошо, удовлетворюсь покамест этим. Теперь позвольте мне вопрос. Гипотезу, пришедшую на ум ученому, он проверяет выкладкой и испытанием, то есть мимикрией правды и ее пантомимой. Ее правдоподобие заражает других, и гипотеза почитается истинным объяснением данного явления, покуда кто-нибудь не найдет в ней погрешности. Если не ошибаюсь, вся наука состоит из таких опальных, или отставных, мыслей: а ведь каждая когда-то ходила в чинах; осталась слава или пенсия. В вашем же случае, Фальтер, я подозреваю, что у вас оказался какой-то другой метод нахождения и проверки. Можно ли назвать его – откровением?

– Нельзя, – сказал Фальтер.

– Погодите. Меня сейчас не столько интересует способ открытия, сколько ваша уверенность в истинности находки. Другими словами, либо у вас есть способ проверить находку, либо сознание истины заложено в ней.

– Видите ли, – отвечал Фальтер, – в Индокитае, при розыгрыше лотереи, номера вытягивает обезьяна. Этой обезьяной оказался я. Другой образ: в стране честных людей у берега был пришвартован ялик, никому не принадлежавший; но никто не знал, что он никому не принадлежит; мнимая же его принадлежность кому-то делала его невидимым для всех. Я случайно в него сел. Но может быть, проще всего будет, если скажу, что в минуту игривости, не непременно математической игривости, – математика, предупреждаю вас, лишь вечная чехарда через собственные плечи при собственном своем размножении, – я комбинировал различные мысли, ну и вот скомбинировал и взорвался, как Бертгольд Шварц. Я выжил; может быть, выжил бы и другой на моем месте. Но после случая с моим прелестным врачом у меня нет ни малейшей охоты возиться опять с полицией.

– Вы разогреваетесь, Фальтер. Но вернемся к главному: что именно вам говорит, что это есть истина? Обезьяна чужда жребию.

– Истин, теней истин, – сказал Фальтер, – на свете так мало, – в смысле видов, а не особей, разумеется, – а те, что налицо, либо так

ничтожны, либо так засорены, что... как бы сказать... отдача при распознавании истины, мгновенный отзыв всего существа – явление малознакомое, малоизученное. Ну, еще там у детей... когда ребенок просыпается или приходит в себя после скарлатины... электрический разряд действительности, сравнительной, конечно, действительности, другой у вас нет. Возьмите любой трюизм, то есть труп сравнительной истины. Разберитесь теперь в физическом ощущении, которое у вас вызывают слова: черное темнее коричневого или лед холоден. Мысль ваша ленится даже привстать, как если бы все тот же учитель раз сто за один урок входил и выходил из вашего класса. Но ребенком в сильный мороз я однажды лизнул блестящий замок калитки. Оставим в стороне физическую боль или гордость собственного открытия, ежели оно из приятных, – не это есть настоящая реакция на истину. Видите, так мало известно это чувство, что нельзя даже подыскать точного слова... Все нервы разом отвечают «да» – так, что ли. Откинем и удивление, как лишь непривычность усвоения предмета истины, не ее самой. Если вы мне скажете, что такой-то – вор, то я, немедленно соображая в уме все те вдруг осветившиеся мелочи, которые сам наблюдал, все же успеваю удивиться тому, что человек, казавшийся столь порядочным, на самом деле мошенник, но истина уже мною незаметно впитана, так что самое мое удивление тотчас принимает обратный образ (как это такого явного мошенника можно было считать честным); другими словами, чувствительная точка истины лежит как раз на полпути между первым удивлением и вторым.

– Так. Это все довольно ясно.

– Удивление же, доведенное до потрясающих, невообразимых размеров, – продолжал Фальтер, – может подействовать крайне болезненно, и все же оно ничто в сравнении с самим ударом истины. И этого уже не «впитаешь». Она меня не убила случайно – столь же случайно, как грянула в меня. Сомневаюсь, что при такой силе ощущения можно было бы думать о его проверке. Но постфактум такая проверка может быть осуществлена, хотя в ее механике я лично не нуждаюсь. Представьте себе любую проходную правду: скажем, что два угла, равные третьему, равны между собой; заключено ли в этом утверждении то, что лед горяч или что в Канаде есть камни? Иначе говоря, данная истинка никаких других родовых истинок не содержит, а тем менее таких, которые принадлежали бы к другим породам и плоскостям знания или мышления. Что же вы скажете об истине, которая заключает в себе объяснение и доказательство всех возможных мысленных утверждений? Можно верить в поэзию полевого цветка или в силу денег, но ни то ни другое не предопределяет веры в гомеопатию или в необходимость истреблять антилоп на островках озера Виктории Ньянджи[43]; но, узнав то, что я узнал – если можно это назвать узнаванием, – я получил ключ решительно ко всем дверям и шкатулкам в мире, только незачем мне употреблять его, раз всякая мысль об его прикладном значении уже сама по себе переходит во всю серию откидываемых крышек. Я могу сомневаться в моей физической способности представить себе до конца все последствия моего открытия, то есть в какой мере я еще не сошел с ума или, напротив, как далеко оставил за собой все, что понимается под помешательством, – но сомневаться никак не могу в том, что мне, как вы выразились, «открылась суть». Воды, пожалуйста.

– Вот вам вода. Но позвольте, Фальтер, правильно ли я понял вас? Неужели вы отныне кандидат всепознания? Извините, не чувствую этого. Допускаю, что вы знаете что-то главное, но в ваших словах нет конкретных признаков абсолютной мудрости.

– Берегу силы, – сказал Фальтер. – Да я и не утверждал, что теперь знаю все, – например, арабский язык, или сколько раз вы в жизни брились, или кто набирал строки вон в той газете, которую читает мой дурак зять. Я только говорю, что знаю все, что мог бы узнать. То же может сказать всякий, просмотрев энциклопедию, не правда ли, но только энциклопедия, точное заглавие которой я узнал (вот, кстати, даю вам более изящный термин: я знаю заглавие вещей), действительно всеобъемлющая – и вот в этом разница между мною и самым сведущим человеком. Видите ли, я узнал – и тут я вас подвожу к самому краю итальянской пропасти, дамы, не смотрите, – я узнал одну весьма простую вещь относительно мира. Она сама по себе так ясна, так забавно ясна, что только моя несчастная человеческая природа может счесть ее чудовищной. Когда я сейчас скажу «соответствует», я под соответствием буду понимать нечто бесконечно далекое от всех соответствий, вам известных, точно так же как самая природа моего открытия ничего не имеет общего с природой физических или философских домыслов: итак, то главное во мне, что соответствует главному в мире, не подлежит телесному трепету, который меня так разбил. Вместе с тем возможное знание всех вещей, вытекающее из знания главной, не располагает во мне достаточно прочным аппаратом. Я усилием воли приучаю себя не выходить из клетки, держаться правил вашего мышления, как будто ничего не случилось, то есть поступаю как бедняк, получивший миллион, а продолжающий жить в подвале, ибо он знает, что малейшей уступкой роскоши он загубит свою печень.

– Но сокровище есть у вас, Фальтер, – вот что мучительно. Оставим же рассуждения о вашем к нему отношении и потолкуем о нем самом. Повторяю, ваш отказ дать мне взглянуть на вашу медузу принят мною к сведению, а кроме того, я готов не делать даже самых очевидных заключений, потому что, как вы намекаете, всякое логическое заключение есть заключение мысли в себе. Я вам предлагаю другой метод вопросов и ответов: я вас не стану спрашивать о составе вашего сокровища, но ведь вы не выдадите его тайны, если скажете мне, лежит ли оно на востоке, или есть ли в нем хоть один топаз, или прошел ли хоть один человек в соседстве от него. При этом, если вы ответите на любой из моих вопросов утвердительно или отрицательно, я не только обязуюсь не избирать данного пути для дальнейшего продвижения однородных вопросов, но обязуюсь и вообще прекратить разговор.

– Теоретически, вы увлекаете меня в грубую ловушку, – сказал Фальтер, слегка затрясаясь, как если б смеялся. – На практике же это есть ловушка, лишь поскольку вы способны задать мне хоть один вопрос, на который я мог бы ответить простым «да» или «нет». Таких шансов весьма мало. Посему, если вам нравится пустая забава, – пожалуйста, валяйте.

Я подумал и сказал:

– Позвольте мне, Фальтер, начать так, как начинает традиционный

турист, с осмотра старинной церкви, известной ему по снимкам. Позвольте мне спросить вас: существует ли Бог?

– Холодно, – сказал Фальтер.

Я не понял и переспросил.

– Бросьте, – огрызнулся Фальтер. – Я сказал «холодно», как говорится в игре, когда требуется найти запрятанный предмет. Если вы ищете под стулом или под тенью стула и предмета там быть не может, потому что он просто в другом месте, то вопрос существования стула или тени стула не имеет ни малейшего отношения к игре. Сказать же, что, может быть, стул-то существует, но предмет не там, то же, что сказать, что, может быть, предмет-то там, но стула не существует, то есть вы опять попадаетесь в излюбленный человеческой мыслью круг.

– Но согласитесь, Фальтер, если вы говорите, что искомое не находится ни в каком соседстве с понятием Бога, а искомое это есть, по вашей терминологии, «заглавное», то, следовательно, понятие о Боге не есть заглавное, а если так, то нет заглавной необходимости в этом понятии, и раз нет нужды в Боге, то и Бога нет.

– Значит, вы не поняли моих слов о соотношении между возможным местом и невозможностью в нем нахождения предмета. Хорошо, скажу вам яснее. Тем, что вы упомянули о данном понятии, вы себя самого поставили в положение тайны, как если бы ищущий спрятался сам. Тем же, что вы упорствуете в своем вопросе, вы не только сами прячетесь, но еще верите, что, разделяя с искомым предметом свойство «спрятанности», вы его приближаете к себе. Как я могу вам ответить, есть ли Бог, когда речь, может быть, идет о сладком горошке или футбольных флажках? Вы не там и не так ищете, шер мосье[44], вот все, что я могу вам ответить. А если вам кажется, что из этого ответа можно сделать малейший вывод о ненужности или нужности Бога, то так получается именно потому, что вы не там и не так ищете. А не вы ли обещали, что не будете мыслить логически?

– Сейчас поймаю и вас, Фальтер. Посмотрим, как вам удастся избежать прямого утверждения. Итак, нельзя искать заглавия мира в иероглифах божества?

– Простите, – ответил Фальтер, – посредством цветистости слога и грамматического трюка вы просто гримируете ожидаемое вами отрицание под ожидаемое «да». Я сейчас только отрицаю. Я отрицаю целесообразность искания истины в области общепринятой теологии, – а во избежание лишней работы со стороны вашей мысли спешу добавить, что употребленный мной эпитет – тупик. Не сворачивайте туда. Я прекращу разговор за неимением собеседника, если вы воскликнете: «Ага, есть другая истина!» – ибо это будет значить, что вы так хорошо себя запрятали, что потеряли себя.

– Хорошо. Поверю вам. Допустим, что теология засоряет вопрос. Так, Фальтер?

– Барыня прислала сто рублей, – сказал Фальтер.

– Ладно, оставим и этот неправильный путь. Хотя, вероятно, вы могли бы мне объяснить, почему именно он неправилен (ибо тут есть что-то странное, неуловимое, заставляющее вас сердиться), и тогда мне было бы ясно ваше нежелание отвечать?

– Мог бы, – сказал Фальтер, – но это было бы равносильно раскрытию сути, то есть как раз тому, чего вы от меня не добьетесь.

– Вы повторяетесь, Фальтер. Неужели вы будете так же изворачиваться, если я, скажем, спрошу, можно ли рассчитывать на загробную жизнь.

– Вам это очень интересно?

– Так же, как и вам, Фальтер. Что бы вы ни знали о смерти, мы оба смертны.

– Во-первых, – сказал Фальтер, – обратите внимание на следующий любопытный подвох: всякий человек смертен; вы (или я) – человек; значит, вы, может быть, и не смертны. Почему? Да потому что выбранный человек тем самым уже перестает быть всяким. Вместе с тем мы с вами все-таки смертны, но я смертен иначе, чем вы.

– Не шпыняйте мою бедную логику, а ответьте мне просто, есть ли хоть подобие существования личности за гробом, или все кончается идеальной тьмой.

– Воп[45], – сказал Фальтер по привычке русских во Франции. – Вы хотите знать, вечно ли господин Синеусов будет пребывать в уюте господина Синеусова, или же все вдруг исчезнет? Тут есть две мысли, не правда ли? Перманентное освещение и черная чепуха. Мало того, несмотря на разность метафизической масти, они чрезвычайно друг на друга похожи. При этом они движутся параллельно. Они движутся даже весьма быстро. Да здравствует тотализатор! У-тю-тю, смотрите в бинокль, они у вас бегут наперегонки, и вы очень хотели бы знать, какая прибежит первая к столбу истины, но тем, что вы требуете от меня ответа «да» или «нет», на любую из них, вы хотите, чтобы я одну на всем бегу поймал за шиворот – а шиворот у бесенят скользкий, – но если бы я для вас одну из них и перехватил, то просто прервал бы состязание, или добежала бы другая, не схваченная мной, в чем не было бы никакого прока ввиду прекращения соперничества. Если же вы спросите, какая из двух бежит скорее, то отвечу вам вопросом же: что скорее бежит – сильное желание или сильная боязнь?

– Думаю, что одинаково.

– То-то и оно. Ведь как же получается в рассуждении человечинки: либо никак нельзя выразить то, что ожидает вас, то есть нас, за смертью, и тогда полное беспмятство исключается, – ведь оно-то вполне доступно нашему воображению, – каждый из нас испытал полную

тьму крепкого сна; либо, наоборот, – представить себе смерть можно, и тогда естественно выбирает рассудок не вечную жизнь, то есть нечто само по себе неведомое, ни с чем земным не сообразное, а именно наиболее вероятное – знакомую тьму. Ибо как же, в самом деле, может человек, доверяющий своему рассудку, допустить, что, скажем, некто мертвецки пьяный, умерший в крепком сне от случайной внешней причины, то есть случайно лишившийся того, чем, в сущности, он уже не обладал, как же это он приобретает способность снова мыслить и чувствовать благодаря лишь продлению, утверждению и усовершенствованию его неудачного состояния? Поэтому, если бы вы у меня спросили даже только одно – известно ли мне по-человечески то, что находится за смертью, то есть попытались бы предотвратить обреченное на нелепость состязание двух противоположных, но, в сущности, одинаковых представлений, из моего отрицания вы бы логически должны были вывести, что ваша жизнь небытием не может кончиться, а из моего утверждения вывели бы заключение обратное. И в том и в другом случае, как видите, вы бы остались точно в таком же положении, как были всегда, ибо сухое «нет» доказало бы вам, что я не более вас знаю о данном предмете, а влажное «да» предложило бы вам принять существование международных небес, в котором ваш рассудок не может не сомневаться.

– Вы просто увильваете от прямого ответа, но позвольте мне все-таки заметить, что в разговоре о смерти вы не отвечаете мне: «холодно».

– Вот вы опять, – вздохнул Фальтер. – Но я же вам только что объяснял, что всякий вывод следует кривизне мышления. Он по-земному правилен, покуда вы остаетесь в области земных величин, но когда вы пытаетесь забраться дальше, то ошибка растет по мере пути. Мало того: ваш разум воспримет всякий мой ответ исключительно с прикладной точки, ибо иначе чем в образе собственного креста вы смерть мыслить не можете, а это, в свою очередь, так извратит смысл моего ответа, что он тем самым станет ложью. Будем же соблюдать пристойность и в трансцендентальном. Яснее выразиться не могу – и скажите мне спасибо за увильвание. Вы догадываетесь, я полагаю, что тут есть одна загвоздка в самой постановке вопроса, загвоздка, которая, кстати сказать, страшнее самого страха смерти. Он у вас, по-видимому, особенно силен, не так ли?

– Да, Фальтер. Ужас, который я испытываю при мысли о своем будущем беспмятстве, равен только отвращению перед умозрительным тленом моего тела.

– Хорошо сказано. Вероятно, налицо и прочие симптомы этой подлунной болезни? Тупой укол в сердце, вдруг среди ночи, как мелькание дикой твари промеж домашних чувств и ручных мыслей: ведь я когда-нибудь... Правда, это бывает у вас? Ненависть к миру, который будет очень бодро продолжаться без вас... Коренное ощущение, что все в мире пустяки и призраки по сравнению с вашей предсмертной мукой, а значит, и с вашей жизнью, ибо, говорите вы себе, жизнь и есть предсмертная мука... Да, да, я вполне себе представляю болезнь, которой вы все страдаете в той или другой мере, и одно могу сказать: не понимаю, как люди могут жить при таких условиях.

– Ну вот, Фальтер, мы, кажется, договорились. Выходит так, что, если я признался бы в том, что в минуты счастья, восхищения, обнажения души я вдруг чувствую, что небытия за гробом нет; что рядом, в запертой комнате, из-под двери которой дует стужей, готовится, как в детстве, многоочитое сияние, пирамида утех; что жизнь[46], родина, весна, звук ключевой воды или милого голоса – все только путаное предисловие, а главное впереди; выходит, что, если я так чувствую, Фальтер, можно жить, можно жить, – скажите мне, что можно, и я больше у вас ничего не спрошу.

– В таком случае, – сказал Фальтер, опять затрясаясь, – я еще менее понимаю. Перескочите предисловие, – и дело в шляпе!

– Un bon mouvement[47], Фальтер, скажите мне вашу тайну[48].

– Это что же, хотите взять врасплох? Какой вы. Нет, об этом не может быть речи. В первое время... Да, в первое время мне казалось, что можно попробовать... поделиться. Взрослый человек, если только он не такой бык, как я, не выдерживает, допустим, но, думалось мне, нельзя ли воспитать новое поколение знающих, то есть не обратиться ли к детям. Как видите, я не сразу справился с заразой местной диалектики. Но на деле что же бы получилось? Во-первых, едва ли мыслимо связать ребят поручкой жреческого молчания, так, чтобы ни один из них мечтательным словом не совершил убийства. Во-вторых, как только ребенок разовьется, сообщенное ему когда-то, принятое на веру и заснувшее на задворках сознания, дрогнет и проснется с трагическими последствиями. Если тайна моя не всегда бьет матерого сапыенса, то никакого юноши она, конечно, не пощадит. Ибо кому незнакомо то время жизни, когда всякая всячина – звездное небо в Эссентуках, книга, прочитанная в клозете, собственные догадки о мире, сладкий ужас солипсизма – и так доводит молодую человеческую особь до исступления всех чувств. В палачи мне идти незачем; вражеских полков истреблять через мегафон не собираюсь... словом, довериться мне некому.

– Я задал вам два вопроса, Фальтер, и вы дважды доказали мне невозможность ответа. Мне кажется, было бы бесполезно спрашивать вас о чем-либо еще, скажем, о пределах мироздания или о происхождении жизни. Вы мне предложили бы, вероятно, удовлетвориться пестрой минутой на второсортной планете, обслуживаемой второсортным солнцем, или опять все свели бы к загадке: гетерологично ли самое слово «гетерологично»[49].

– Вероятно, – подтвердил Фальтер и протяжно зевнул.

Его зять тихонько зачерпнул из жилета часы и переглянулся с супругой.

– Но вот что странно, Фальтер. Как совмещается в вас сверхчеловеческое знание сути с ловкостью площадного софиста, не знающего ничего? Признайтесь, все ваши вздорные отводы лишь изощренное зубоскальство?

– Что же, это моя единственная защита, – сказал Фальтер, косясь на

сестру, которая проворно вытягивала длинный серый шерстяной шарф из рукава пальто, уже подаваемого ему зятем. – Иначе, знаете, вы бы добились... Впрочем, – добавил он, не той, потом той рукой влезая в рукав и одновременно отодвигаясь от вспомогательных толчков помощников, – впрочем, если я немножко и покуражился над вами, то могу вас утешить: среди всякого вранья я нечаянно проговорился, – всего два–три слова, но в них промелькнул краешек истины, – да вы, по счастью, не обратили внимания.

Его увели, и тем окончился наш довольно–таки дьявольский диалог. Фальтер не только ничего мне не сказал, но даже не дал мне подступиться, и, вероятно, его последнее слово было такой же издевкой, как и все предыдущие. На другой день скучный голос его зятя сообщил мне по телефону, что за визит Фальтер берет сто франков; я спросил, почему, собственно, меня не предупредили об этом, и он тотчас ответил, что, в случае повторения сеанса, два разговора мне обойдутся всего в полтора ста. Покупка истины, даже со скидкой, меня не прельщала, и, отослав ему свой непредвиденный долг, я заставил себя не думать больше о Фальтере. Но вчера... да, вчера, я получил от него самую записку – из госпиталя: четко пишет, что во вторник умрет и что на прощание решается мне сообщить, что – тут следуют две строчки, старательно и как бы иронически вымаранные. Я ответил, что благодарю за внимание и желаю ему интересных загробных впечатлений и приятного препровождения вечности.

Но все это не приближает меня к тебе, мой ангел. На всякий случай держу все окна и двери жизни настежь открытыми, хотя чувствую, что ты не снизойдешь до старинных приемов привидений. Страшнее всего мысль, что, поскольку ты отныне сияешь во мне, я должен беречь свою жизнь. Мой бранный состав единственный, быть может, залог твоего идеального бытия: когда я скончаюсь, оно окончится тоже. Увы, я обречен с нищей страстью пользоваться земной природой, чтобы себе самому договорить тебя и затем положиться на свое же многоточие...

## <Глава II>. Solus Rex

Как случалось всегда, короля разбудила встреча предутренней стражи с дополуночной (morndammer wagh и erldag wagh): первая, чересчур аккуратная, покидала свой пост в точную минуту смены; вторая же запаздывала на постоянное число секунд, зависевшее не от нерадивости, а, вероятно, от того, что привычно отставали чьи–то подагрические часы. Поэтому уходившие с прибывавшими встречались всегда на одном и том же месте, – на тесной тропинке под самым окном короля, между задней стеной дворца и зарослью густой, но скудно цветущей жимолости, под которой валялся всякий сор – куриные перья, битые горшки и большие, краснощекие банки из–под национальных консервов «Помона»; при этом неизменно слышался приглушенный звук короткой добродушной потасовки (он–то и будил короля), ибо кто–то из

часовых предутренних, будучи озорного нрава, притворялся, что не хочет отдать грифельную дощечку с паролем одному из допудренных, раздражительному и глупому старику, ветерану свирхульмского похода. Потом все смолкало опять, и доносился только деловитый, иногда ускорявшийся, шелест дождя, систематически шедшего, по чистому подсчету, триста шесть суток из трехсот шестидесяти пяти или шести, так что перипетии погоды давно никого не трогали (тут ветер обратился к жимолости).

Король повернул из сна вправо и подпер большим белым кулаком щеку, на которой вышитый герб подушки оставил шашечный след. Между внутренними краями коричневых, неплотно заведенных штор, в единственном, зато широком окне тянулся мыс мыльного света, и королю сразу вспомнилась предстоящая обязанность (присутствие при открытии нового моста через Эгель), неприятный образ которой был, казалось, с геометрической неизбежностью вписан в этот бледный треугольник дня. Его не интересовали ни мосты, ни каналы, ни кораблестроительство, и хотя, собственно говоря, он должен был бы привыкнуть за пять лет – да, ровно пять лет (тысяча пятьсот тридцать суток [50]) – пасмурного царствования к тому, чтобы усердно заниматься множеством вещей, возбуждавших в нем отвращение из-за их органической недоконченности в его сознании (где бесконечно и неутолимо совершенными оставались совсем другие вещи, никак не связанные с его королевским хозяйством), он испытывал изнурительное раздражение всякий раз, как приходилось соприкасаться не только с тем, что требовало от его свободного невежества лживой улыбки, но и с тем, что было не более чем глянец условности на бессмысленном и, может быть, даже отсутствующем предмете. Открытие моста, проекта которого он даже не помнил, хотя, должно быть, одобрил его, казалось ему лишь пошлым фестивалем еще и потому, что никто, конечно, не спрашивал, интересен ему или нет повисший в воздухе сложный плод техники, – а придется тихо проехать в блестящем оскаленном автомобиле, а это мучительно, а вот был другой инженер, о котором упорно докладывали ему после того, как он однажды заметил (просто так – чтобы от кого-то или чего-то отделаться), что охотно занимался бы альпинизмом, будь на острове хоть одна приличная гора (старый, давно негодный береговой вулкан был не в счет, да там, кроме того, построили маяк, тоже, впрочем, недействующий). Этот инженер, сомнительная слава которого обжилась в гостиных придворных и полупридворных дам, привлеченных его медовой смуглотой и вкрадчивой речью, предлагал поднять центральную часть островной равнины, обратив ее в горный массив, путем подземного накачиванья. Населению выбранной местности было бы разрешено не покидать своих жилищ во время опуханья почвы: трусы, которые предпочли бы отойти подальше от опытного участка, где жалась их кирпичные домишки и мычали, чуя элевацию, изумленные красные коровы, были бы наказаны тем, что возвращение восвояси по новосозданным крутизнам заняло бы гораздо больше времени, чем недавнее отступление по обреченной равнине. Медленно и округло надувались логовины [51], валуны поводили плечами, летаргическая речка, упав с постели, неожиданно для себя превращалась в альпийский водопад, деревья цугом [52] уезжали в облака, причем многим это нравилось, например елям; опираясь о борт того, другого крыльца, жители махали платками и любовались воздушным развитием окрестностей, – а гора все росла, росла, пока инженер не отдавал приказа остановить работу чудовищных

насосов. Но король приказа не дождался, снова задремал, едва успев пожалеть, что, постоянно сопротивляясь готовности Советников помочь осуществлению любой вздорной мечты (между тем как самые естественные, самые человеческие его права стеснялись глухими законами), он не разрешил приступить к опыту, теперь же было поздно, изобретатель покончил с собой, предварительно запатентовав комнатную виселицу (так, по крайней мере, сонное пересказало сонному).

Король проспал до половины восьмого, и в привычную минуту, тронувшись в путь, его мысль уже шла навстречу Фрею, когда Фрей вошел в спальню. Страдая астмой, дряхлый конвахер[53] издавал на ходу странный добавочный звук, точно очень спешил, хотя, по-видимому, спешка была не в его духе, раз он до сих пор не умер. На табурет с вырезанным сердцем он опустил серебряный таз, как делал уже полвека при двух королях, ныне он будил третьего, предшественникам которого эта пахнущая ванилью и как бы колдовская водица служила, вероятно, для умывания, но теперь была совершенно излишней, а все-таки каждое утро появлялся таз, табурет, пять лет тому назад сложенное полотенце. Все издавая свой особенный звук, Фрей впустил день целиком, и король всегда удивлялся, отчего это он раньше всего не раздвигал штор, вместо того чтобы в полутьме, почти наугад, подвигать к постели табурет с ненужной посудой. Но говорить с Фреем было немыслимо из-за его белой как лунь глухоты, — от мира он был отделен ватой старости, и когда он уходил, поклонившись постели, в спальне отчетливее тикали стенные часы, словно получив новый заряд времени.

Теперь эта спальня была ясна: с трещиной поперек потолка, похожей на дракона; с громадным столбом-вешалкой, стоящим как дуб в углу; с прекрасной гладильной доской, прислоненной к стене; с устарелым приспособлением для сдирания сапога за каблук, в виде большого чугунного жука-рогача, таящегося у подола кресла, облаченного в белый чехол. Дубовый платяной шкаф, толстый, слепой, одурманенный нафталином, соседствовал с яйцеобразной корзиной для грязного белья, поставленной тут неизвестным колумбом. Там и сям на голубоватых стенах кое-что было повешено: уже проговорившиеся часы, аптечка, старый барометр, указывающий по воспоминаниям недействительную погоду, карандашный эскиз озера с камышами и улетающей уткой, близорукая фотография господина в крагах верхом на лошади со смазанным хвостом, которую держал под уздцы серьезный конюх перед крыльцом, то же крыльцо с собравшейся на ступенях напряженной прислугой, какие-то прессованные пушистые цветы под пыльным стеклом в круглой рамке... Немногочисленность предметов и совершенная их чуждость нуждам и нежности того, кто пользовался этой просторной спальней (где когда-то, кажется, жила Экономка, как называли жену предшествовавшего короля), придавали ей таинственно необитаемый вид, и если бы не принесенный таз да железная кровать, на которой сидел, свесив мускулистые ноги, человек в долгой рубахе с вышитым воротом, нельзя было бы себе представить, что тут кто-либо проводит ночь. Ноги нашарили пару сафьяновых туфель, и, надев серый как утро халат, король прошел по скрипучим половицам к обитой войлоком двери. Когда он вспоминал впоследствии это утро, ему казалось, что при вставании он испытывал и в мыслях и в мышцах непривычную тяжесть, роковое время грядущего дня, так что несомое этим днем страшнейшее несчастье

(уже, под маской ничтожной скуки, сторожившее мост через Эгель), при всей своей нелепости и непредвиденности, ощутилось им затем как некое разрешение. Мы склонны придавать ближайшему прошлому (вот я только что держал, вот положил сюда, а теперь нету) черты, роднящие его с неожиданным настоящим, которое на самом деле лишь выскочка, кичащийся купленными гербами. Рабы связности, мы тщимся призрачным звеном прикрыть перерыв. Оглядываясь, мы видим дорогу и уверены, что именно эта дорога нас привела к могиле или к ключу, близ которых мы очутились. Дикие скачки и провалы жизни переносимы мыслью только тогда, когда можно найти в предшествующем признаки упругости или зыбучести. Так, между прочим, думалось несвободному художнику, Дмитрию Николаевичу Синеусову, и был вечер, и вертикально расположенными рубиновыми буквами горело слово «GARAGE» [54].

Король отправился на поиски утреннего завтрака. Дело в том, что никогда ему не удавалось установить наперед, в каком из пяти возможных покоев, расположенных вдоль холодной каменной галереи с паутинами на косых стеклах, будет его ожидать кофе. Поочередно отворяя двери, он выглядывал накрытый столик и наконец отыскал его там, где это явление случалось всего реже, – под большим, роскошно-темным портретом его предшественника. Король Гафон был изображен в том возрасте, в котором он помнил его, но чертам, осанке и телосложению было сообщено великолепие, никогда не бывшее свойственным этому сутулому, вертлявому и неряшливому старику, с безволосым, кривоватым, по-бабьи сморщенным надгубьем. Слова родового герба «видеть и владеть» (sassed ud halsem) остряки в применении к нему переделали в «кресло и ореховая водка» (sasse ud hazel). Он процарствовал тридцать с лишним лет, не возбуждая ни в ком ни особой любви, ни особой ненависти, одинаково веря в силу добра и в силу денег, ласково соглашаясь с парламентским большинством, пустые человеколюбивые стремления коего нравились его чувствительной душе, и широко вознаграждая из тайной казны деятельность тех депутатов, чья преданность престолу служила залогом его прочности. Царствование давно стало для него маховым колесом механической привычки, и таким же ровным верчением было темное повиновение страны, где, как тусклый и трескучий ночник, едва светился *perlerhus* (парламент). И если самые последние годы его царствования были все же отравлены едкой крамолой, явившейся как отрыжка после долгого и беспечного обеда, то не сам он был тому виною, а личность и поведение наследника; да и то сказать – в пылу раздражения добрые люди находили, что не так уж завирался тогдашний бич научного мира, забытый ныне профессор фон Скунк [55], утверждавший, что деторождение не что иное, как болезнь, и что всякое чадо есть ставшая самостоятельной («овнешненной») опухоль родительского организма, часто злокачественная.

Нынешний король (в прошедшем обозначим его по-шахматному) приходился старику племянником, и вначале никому не мерещилось, что племяннику достанется то, что законом сулилось сыну короля Гафона, принцу Адульффу, народное, совершенно непристойное прозвище которого (основанное на счастливом созвучии) приходится скромно перевести так: принц Дуля. Кр. рос в отдаленном замке под надзором хмурого и тщеславного вельможи и его мужеподобной жены, страстной любительницы охоты, – так что он едва знал двоюродного брата и только в двадцать

лет несколько чаще стал встречаться с ним, когда тому уже было под сорок.

Перед нами дородный, добродушный человек с толстой шеей и широким тазом, со щекастым, ровно-розовым лицом и красивыми глазами навывкате; маленькие гадкие усы, похожие на два иссиня-черных перышка, как-то не шли к его крупным губам, всегда лоснящимся, словно он только что обсасывал цыплячью косточку, а темные, густые, неприятно пахнущие и тоже слегка маслянистые волосы придавали его большой, плотно посаженной голове какой-то не по-островному франтовской вид. Он любил щегольское платье и вместе с тем был как rарigh (семинарист) нечистоплотен; он знал толк в музыке, в ваянии, в графике, но мог проводить часы в обществе тупых, вульгарных людей; он обливался слезами, слушая тающую скрипку гениального Перельмона, и точно так же рыдал, подбирая осколки любимой чашки; он готов был чем угодно помочь всякому, если в эту минуту другое не занимало его, – и, блаженно сопя, теребя и пощипывая жизнь, он постоянно шел на то, чтобы причинить каким-то третьим душам, о существовании которых не помышлял, какое-то далеко превышающее размер его личности постороннее, почти потустороннее горе.

Поступив на двадцатом году в университет, расположенный в пятистах лиловых верстах от столицы, на берегу серого моря, Кр. кое-что там услышал о нравах наследного принца, и услышал бы гораздо больше, если бы не избегал всех речей и рассуждений, которые могли бы слишком обременить его и так нелегкое инкогнито. Граф-опекун, навещавший его раз в неделю (причем иногда приезжая в каретке мотоциклета, которым управляла его энергичная жена), постоянно подчеркивал, как было бы скверно, скандально, опасно, кабы кто-нибудь из студентов или профессоров узнал, что долговязый, сумрачный юноша, столь же отлично учащийся, как играющий в vanbol на двухсотлетней площадке за зданием библиотеки, вовсе не сын нотариуса, а племянник короля. Было ли это принуждение одним из тех несметных и загадочных по своей глупости капризов, которыми, казалось, кто-то неведомый, обладающий большей властью, чем король и пеплерхус, вместе взятые, зачем-то бередит верную полузабытым заветам, бедную, ровную, северную жизнь этого «грустного и далекого» острова, или же у обиженного вельможи был свой частный замысел, свой зоркий расчет (воспитание королев почиталось тайной), гадать об этом не приходилось, да и другим был занят необыкновенный студент. Книги, мяч, лыжи (в те годы зимы бывали снежные), но главное – ночные, особенные размышления у камина, а немного позже близость с Белиндой, достаточно заполняли его существование, чтобы его не заботили шашни метаполитики. Мало того, трудолюбиво занимаясь отечественной историей, он никогда не думал о том, что в нем спит та же самая кровь, что бежала по жилам прежних королев, или что жизнь, идущая мимо него, есть та же история, вышедшая из туннеля веков на бледное солнце. Оттого ли, что программа его предмета кончалась за целое столетие до царствования Гафона, оттого ли, что невольное волшебство трезвейших летописцев было ему дороже собственного свидетельства, но книгочий в нем победил очевидца, и впоследствии, стараясь восстановить утраченную связь с действительностью, он принужден был удовлетвориться наскоро сколоченными переходами, лишь изуродовавшими привычную даль легенды (мост через Эгель, кровавый мост через

Эгель...).

И вот тогда-то, перед началом второго университетского года, приехав на краткие каникулы в столицу, где он скромно поселился в так называемых «министерских номерах», Кр. на первом же дворцовом приеме встретился с шумным, толстым, неприлично моложавым, вызывающе симпатичным наследным принцем. Встреча произошла в присутствии старого короля, сидевшего в кресле с высокой спинкой у расписного окна и быстро-быстро пожиравшего те маленькие, почти черные сливы, которые служили ему более лакомством, чем лекарством. Сначала как бы не замечая молодого родственника и продолжая обращаться к двум подставным придворным, принц, однако, повел разговор, как раз рассчитанный на то, чтобы оболестить новичка, к которому он стоял вполоборота, глубоко запустив руки в карманы мятых, клетчатых панталон, выпятив живот и покачиваясь с каблучков на носки. «Возьмите, – говорил он своим публичным, ликующим голосом, – возьмите всю нашу историю, и вы увидите, господа, что корень власти всегда воспринимался у нас как начало магическое и что покорность была только тогда возможна, когда она в сознании покоряющегося отождествлялась с неизбежным действием чар. Другими словами, король был либо колдун, либо сам был околдован, – иногда народом, иногда советниками, иногда супостатом, снимающим с него корону, как шапку с вешалки. Вспомните самые дремучие времена, власть mossmon'ов (жрецов, “болотных людей”), поклонение светящемуся мху и прочее, а потом... первые языческие короли, – как их, Гильдрас, Офодрас и третий... я уж не помню, – словом, тот, который бросил кубок в море, после чего трое суток рыбаки черпали морскую воду, превратившуюся в вино... Solg ud digh vor je sage vel, ud jem gotelm quolm osje musikel, – (“сладка и густа была морская волна, и девочки пили из раковин”, – принц цитировал балладу Уперхульма). – А первые монахи, приплывшие на лодочке, уснащенной крестом вместо паруса, и вся эта история с “купель-скалой”, – ведь только потому, что они угадали, чем взять наших, удалось им ввести римские бредни. Я больше скажу, – продолжал принц, вдруг умерив раскаты голоса, так как неподалеку стоял сановник клерикального толка, – если так называемая Церковь никогда у нас не въелась по-настоящему в тело государства, а за последние два столетия и вовсе утратила политическое значение, так это именно потому, что те элементарные и довольно однообразные чудеса, которые она могла предьявить, очень скоро наскучили, – клерикал отошел, и голос принца вновь вышел на волю, – и не могли тягаться с природным колдовством, avec la magie innée et naturelle[56] нашей родины. Возьмем далее безусловно исторических королей и начало нашей династии. Когда Рогфрид I вступил или, вернее, вскарабкался на шаткий трон, который он сам называл бочкой в море, и в стране стоял такой мятеж и неразбериха, что его попытка воцариться казалась детской мечтой, – помните, первое, что он делает по вступлении на престол, – он немедленно чеканит круны и полкруны и гроши с изображением шестипалой руки, – почему рука? почему шесть пальцев? – ни один историк не может выяснить, да и сам Рогфрид вряд ли знал, но факт тот, что эта магическая мера сразу умиротворила страну. Далее, когда при его внуке датчане попробовали навязать нам своего ставленника и тот высадился с огромными силами, – вдруг, совершенно просто, партия – я забыл, как ее звали, – словом, изменники, без помощи которых не случилось бы всей затеи, –

отправили к нему гонца с вежливым извещением о невозможности для них впредь поддерживать завоевателя, ибо, видите ли, “вереск (то есть вересковая равнина, по которой продавшееся войско должно было пройти, чтобы слиться с силами иноземца) опутал измене стремя и ноги и не пускает далее”, что, по-видимому, следует понимать буквально, а не толковать в духе тех плоских иносказаний, которыми питают школьников. Затем... да, вот чудный пример, – королева Ильда, – не забудем белогрудой и любвеобильной королевы Ильды, которая все государственные трудности разрешала путем заклинаний, да так успешно, что всякий неугодный ей человек терял рассудок, – вы сами знаете, что до сих пор в народе убежища для сумасшедших зовутся *ildeham*. Когда же он, этот народ, начинает участвовать в делах законодательных и административных, – до смешного ясно, что магия на его стороне, и уверяю вас, что если бедный король Эдарик никак не мог усесться во время приема выборных, виной тому был вовсе не геморрой. И так далее, и так далее, – (принцу уже начинала надоедать им выбранная тема) – ...жизнь страны, как некая амфибия, держит голову в простой северной действительности, а брюхо погружает в сказку, в густое, живительное волшебство, – недаром у нас каждый мшистый камень, каждое старое дерево участвовало хоть раз в том или другом волшебном происшествии. Вот тут находится молодой студент, он изучил предмет и, думаю, подтвердит мое мнение».

Серьезно и доверчиво слушая рассуждения принца, Кр. поражался тем, до чего они совпадают с его собственными мыслями. Правда, ему казалось, что хрестоматийный подбор примеров, производимый речистым наследником, несколько грубоват; что все дело не столько в разительных проявлениях чудесного, сколько в оттенках его, глубоко и вместе туманно окрашивающих историю Острова. Но с основным положением он был безусловно согласен, – так он и ответил, опустив голову и кивая самому себе. Только гораздо позже он понял, что совпадение мыслей, так удивившее его, было следствием почти бессознательной хитрости со стороны их прокатчика, у которого, несомненно, было особого рода чутье, позволявшее ему угадывать лучшую приманку для всякого свежего слушателя.

Король, покончив со своими сливами, подозвал племянника и, совершенно не зная, о чем с ним говорить, спросил его, сколько студентов в университете. Тот смешался, – не знал сколько, – был слишком ненаходчив, чтоб назвать любую цифру. «Пятьсот? Тысяча?» – допытывался король с какой-то ребяческой надеждой в тоне. «Наверное, больше», – примирительно добавил он, не добившись вразумительного ответа, и, немного подумав, еще спросил, любит ли племянник верховую езду. Тут вмешался наследник, с присущей ему сочной непринужденностью предложив двоюродному брату совместную прогулку в ближайший четверг. «Удивительно, до чего он стал похож на мою бедную сестрицу, – проговорил король с машинальным вздохом, снимая очки и суя их обратно в грудной карманчик коричневой, с бранденбургскими куртки. – Я слишком беден, – продолжал он, – чтобы подарить тебе коня, но у меня есть чудный хлыстик, – Готсен, – обратился он к министру двора, – где чудный хлыстик с собачьей головкой? Разыщите потом и дайте ему, – интересная вещица, историческая вещица, – ну так вот, очень рад, а коня не могу, пара кляч есть, да берегу для катафалка, не взыщи – беден...» («*Il ment*»[57], – сказал принц

вполголоса и отошел, напевая.)

В день прогулки погода стояла холодная и беспокойная, летело перламутровое небо, склонялся лозняк по оврагам, копыта вышлепывали брызги из жирных луж в шоколадных колеях, каркали вороны, а потом, за мостом, всадники свернули в сторону и поехали рысью по темному вереску, над которым там и сям высилась тонкая, уже желтеющая береза. Наследный принц оказался отличным наездником, хотя, видимо, в манеже не учился: посадка была никакая, и его тяжелый, широкий, вельветином и замшей обтянутый зад, ухающий вверх и вниз на седле, да округлые, склоненные плечи возбуждали в его спутнике какую-то странную, смутную жалость, которая совершенно рассеивалась, когда Кр. смотрел на толстошее, розовое, разящее здоровьем и самодовольством лицо принца и слушал его напористую речь.

Присланный накануне хлыстик взят не был: принц (кстати сказать, введший в моду дурной французский язык при дворе) высмеял «*ce machin ridicule*»[58], который, по его словам, сынок конюха забыл у королевского подъезда, – «*et mon bonhomme de père, tu sais, a une vraie passion pour les objets trouvés*»[59].

«Я все думал, как это верно, то, что вы говорили, – в книгах этого ведь не сказано...»

«О чем это?» – спросил принц, с трудом и неохотой стараясь вспомнить, какую случайную мысль он тогда развивал перед двоюродным братом.

«Помните, – о магическом начале власти, – о том, что –»

«А, помню, помню, – поспешно перебил принц и тут же нашел лучший способ разделаться с выдохшейся темой: – Только знаешь, – сказал он, – я тогда не докончил, – слишком было ушасто. Видишь ли, – все наше теперешнее несчастье, эта странная тоска государства, инертность страны, вялая ругань в пеплерхусе, – все это так потому, что самая сила чар, и народных и королевских, как-то сдала, улетучилась, и наше отечественное волхование превратилось в пустое фокусничество. Но не будем сейчас говорить об этих грустных предметах, а обратимся к веселым. Скажи, ты в университете, верно, немало обо мне наслышался... Воображаю! Скажи, о чем говорилось? Что ж ты молчишь? Говорилось, что я развратен, не так ли?»

«Я сплетен не слушал, но кое-что в этом роде болтали».

«Что ж, молва – поэзия правды. Ты еще мальчик – и довольно красивый мальчик в придачу, – так что многого ты сейчас не поймешь. Я тебе только одно замечу: все люди, в сущности, развратны, но когда это делается под шумок, когда второпях, скажем, обжираться вареньем в темном углу или Бог знает что поручаешь собственному воображению, – о, это не в счет, это преступлением не зовется; когда же человек откровенно и трудолюбиво удовлетворяет желания, навязанные ему требовательным телом, – тогда люди начинают трубить о беспутстве! И еще: если бы в моем случае это законное удовлетворение просто сводилось все к одному и тому же однообразному приему, общественное

мнение с этим бы примирилось, – разве что пожурит бы меня за слишком частую смену любовниц... но Боже мой, какой поднимается шум оттого, что я не придерживаюсь канонов распутства, а собираю мед повсюду, люблю все – и тюльпан, и простую травку, – потому что, видишь ли, – докончил принц, улыбаясь и щурясь, – я, собственно, ищу только дробь прекрасного, целое предоставляю добрым бургерам, а эта дробь может найтись в балерине и в грузчике, в пожилой красавице и в молодом всаднике».

«Да, – сказал Кр., – я понимаю. Вы – художник, скульптор, вы ищете форму...»

Принц придержал коня и захохотал.

«Ну, знаешь, дело тут не в скульптуре, – *à moins que tu ne confonde la galanterie avec la Galatée*[60], – что, впрочем, в твоём возрасте простительно. Нет-нет, все это гораздо проще. Только ты меня, пожалуйста, не дичись, я тебя не съем, я ужасно не люблю юношей, *qui se tiennent toujours sur leurs gardes*[61]. Если у тебя ничего нет лучше в виду, мы можем вернуться через Grenlog и пообедать над озером, а потом что-нибудь придумаем».

«Нет, – боюсь, что у меня... словом, одно дело... я как раз сегодня...»

«Что ж, я тебя не неволю», – добродушно сказал принц, и немножко дальше, у мельницы, они расстались.

Как очень застенчивый человек, Кр. не без труда принудил себя к этой верховой прогулке, казавшейся особо тяжелым испытанием именно потому, что принц слыл веселым собеседником: с минорным тихоней было бы легче заранее определить тон прогулки; готовясь к ней, Кр. старался вообразить все те неловкости, которые проистекут оттого, что придется искусственно приподнять свое обычное настроение до искристого уровня Адульфа. При этом он себя чувствовал связанным первой встречей с ним, – тем, что неосторожно признал своими мысли человека, который теперь вправе ожидать, что и дальнейшее общение будет обоим столь же приятно; и, составляя наперед подробную опись своих возможных промахов, а главное, с предельной ясностью представляя себе напряжение, свинец в челюстях, беспомощную скуку, которую он будет испытывать из-за врожденной способности всегда видеть со стороны себя, свои бесплодные усилия слиться с самим собой и найти интересное в том, чему полагается быть интересным, – составляя эту опись, Кр. еще преследовал маленькую практическую цель: обезвредить будущее, чье единственное орудие – неожиданность; ему это почти удалось; ограниченная в своем дурном выборе судьба, казалось, удовлетворилась тем нестрашным, которое он оставил вне поля воображения; бледное небо, вересковый ветер, скрип седла, нетерпеливо отзывчивая лошадь, неиссякаемый монолог довольного собою спутника, – все это слилось в ощущение сносное, тем более что прогулке Кр. мысленно поставил известный предел во времени. Надо было только дотерпеть. Но когда новым своим предложением принц погрозился отодвинуть этот предел в неизвестность, все возможности коей надо было опять мучительно учесть, – причем снова навязывалось «интересное», наперед заказывающее веселое выражение лица, – такое

бремя (лишнее! непредвиденное!) выдержать было нельзя, и потому, рискуя показаться неучтивым, он сослался на несуществующую помеху. Правда, как только он повернул лошадь, он об этой неучтивости пожалел столь же остро, как за минуту до того пожалел своей свободой. Таким образом, все неприятное, ожидавшееся от будущего, выродилось в сомнительный отзвук прошедшего. Он подумал, не догнать ли принца и не закрепить ли первую основу дружбы посредством позднего, но тем более драгоценного согласия на новое испытание. Но щепетильная боязнь обидеть доброго, веселого человека не перевесила страха перед явной невозможностью оказаться на высоте этого веселья и этой доброты. И поэтому получилось так, что судьба все-таки перехитрила его и напоследок, уколом исподтишка, обесценила то, что он готов был считать за победу.

Через несколько дней он получил еще одно приглашение от принца. Тот его просил «заглянуть» в любой вечер на будущей неделе. Отказаться Кр. не мог... Впрочем, чувство облегчения (значит, тот не обиделся) обманчиво сглаживало путь. Его ввели в большую, желтую, оранжерейно теплую комнату, где на оттоманках, на пуфах, на пухлом ковре сидело человек двадцать с приблизительно равным числом женщин и мужчин. На одну долю секунды хозяин был как бы озадачен появлением двоюродного брата, точно забыл, что звал его, или думал, что звал в другой день. Но это мгновенное выражение тотчас сменилось улыбкой приветия, после чего принц уже перестал обращать какое-либо внимание на Кр., как, впрочем, ни малейшего внимания не обратили на него другие гости, – видимо, завсегдатаи, близкие приятели и приятельницы принца, – молодые женщины необыкновенной худобы, с гладкими волосами, человек пять пожилых мужчин с бритыми, бронзовыми лицами, да несколько юношей в модных тогда шелковых воротниках нараспашку. Среди них Кр. вдруг узнал знаменитого молодого акробата, хмурого блондинчика с какой-то странной тихостью в движениях и поступи, точно выразительность его тела, столь удивительная на арене, была одеждой приглушена. Этот акробат послужил для Кр. ключом ко всему составу общества, – и хотя наблюдатель был до смешного неопытный и целомудренный, он сразу почувствовал, что эти дымчатые, сладостно длинные женщины, с разнообразной небрежностью складывающие ноги и руки и занимающиеся не разговором, а какой-то тенью разговора, состоящей из медленных полуулыбок да вопросительных или ответных хмыканий сквозь дым папирос, вправленных в драгоценные мундштуки, принадлежат к тому, в сущности глухонемому миру, который в старину звался полусветом (занавески опущены, читать невозможно). То, что между ними находились и дамы, попадавшие на придворных балах, несколько не меняло дела, точно так же, как мужской состав был чем-то однороден, несмотря на то что тут были и представители знати, и художники с грязными ногтями, и какие-то мальчишки портового пошиба. Но именно потому, что наблюдатель был неопытный и целомудренный, он тотчас усомнился в первом невольном впечатлении и обвинил себя в банальной предвзятости, в рабском доверии пошлой молве. Он решил, что все в порядке, то есть что его мир несколько не нарушен включением этой новой области, и что все в ней просто и понятно: жизнерадостный, независимый человек свободно выбрал себе друзей. Тихо-беспечный и даже чем-то детский ритм этого общества особенно успокоил его. Курение машинальных папирос, мелкая, сладкая снедь на тарелочках с золотыми жилками, товарищеские циклы движений (кто-то

для кого-то нашел ноты, кто-то примерил на себе ожерелье соседки), простота, тишина, все это по-своему говорило о той доброте, которую Кр., сам ею не обладая, мучительно узнавал во всех явлениях жизни, – будь это улыбка конфеты в ее гофрированном чепчике или угаданный в чужой беседе звук давней дружбы. Сосредоточенно хмурясь и изредка разрешаясь серией взволнованных стонов, оканчивающихся криком досады, принц занимался тем, что старался загнать все шесть шариков в центр круглого лабиринта из стекла. Рыжеволосая, в зеленом платье и сандалиях на босу ногу, повторяла со смешным унынием, что это ему не удастся никогда, но он долго упорствовал, тряс ретивый предмет, слегка топал ногой и начинал сызнава. Наконец он его швырнул на диван, где им тотчас занялись другие. Затем мужчина с красивой, но искаженной тиком внешностью сел за рояль, беспорядочно ударил по клавишам, пародируя чью-то игру, тотчас встал опять, и между ним и принцем завязался спор о таланте какого-то третьего лица – вероятно, автора оборванной мелодии, а рыжая, почесывая сквозь платье длинное бедро, стала объяснять причину чьей-то сложной музыкальной обиды. Вдруг принц посмотрел на часы и обратился к молодому человеку, пившему в углу оранжад: «Ондрик, – проговорил он с озабоченным видом, – кажется, пора». Тот угрюмо облизнулся, поставил стакан и подошел к принцу.

Толстыми пальцами расстегнув ему панталоны, принц извлек всю розовую массу срамных частей и, выбрав главную, стал равномерно тереть ее глянцеви́тый стержень [62].

«Сначала мне показалось, – рассказывал Кр., – что я сошел с ума, что у меня галлюцинация...» – больше всего его потрясла естественность процедуры. Он почувствовал подступ физической тошноты и вышел. Выбравшись на улицу, он некоторое время даже бежал.

Единственное лицо, с которым он признал возможным поделиться своим возмущением, был его опекун: не испытывая никакой любви к малопривлекательному графу, он все же решил, что обратиться к нему необходимо, – других близких у него не было. Он с отчаянием спросил графа, как это может быть, чтобы человек таких нравов, к тому же уже пожилой, то есть не подверженный перемене, стал бы правителем страны; при том свете, в котором он неожиданно увидел наследника, он увидел и то, что, помимо отвратительного распутства и несмотря на склонность к искусствам, принц, в сущности, дикарь, грубый самоучка, лишенный настоящей культуры, присвоивший горсть ее бисера, умело щеголяющий блеском переимчивой мысли и уж конечно вовсе не озабоченный вопросами будущего царствования. Кр. спрашивал, не бред ли, не сонная ли чепуха вообразить такого человека на троне, однако, так спрашивая, он не ожидал практического ответа: это была риторика молодого разочарования. Но как-никак, в отрывистых, ломких словах (он был не красноречив по природе) выражая свое недоумение, Кр. впервые обогнал действительность и заглянул ей в лицо. Пускай он сразу же отстал снова; виденное все же отпечаталось у него в душе, и впервые ему открылось гибельное положение государства, осужденного стать игрищем похотливого хахалы.

Граф выслушал его со вниманием, изредка обращая на него взгляд голых стервятничьих глаз, – в них сквозило странное удовлетворение.

Расчетливый и неторопливый, он отвечал своему питомцу весьма осторожно, как бы не совсем соглашаясь с ним, успокаивая его тем, что случайно подсмотренное сильнее, чем следовало, повлияло на его суждение, что принц всего лишь хотел путем некоторого режима помешать молодому другу тратить силы на дурных женщин [63] и что у принца есть качества, которые могут сказаться при вступлении его на престол. Напоследок граф небрежно предложил познакомить Кр. с одним умным человеком, известным экономистом по фамилье Гумм. Тут граф преследовал двоякую цель: во-первых, он снимал с себя ответственность за дальнейшее и оставался в стороне, что оказалось бы весьма удобным, случись беда; во-вторых, он передавал Кр. старому заговорщику, и таким образом начато было осуществление плана, который вредный лукавец лелеял, по-видимому, давно.

Вот – экономист Гумм, круглобрюхий старичок в шерстяном жилете, в синих очках на розовом лбу, подвижный, чистенький и смешливый. Кр. стал видаться с ним часто, а в конце второго университетского года даже прогостил у него около недели. К этому времени Кр. узнал достаточно о поведении наследного принца, чтобы не жалеть о своем первом возмущении. Не столько от самого Гумма, который всегда куда-то катился, сколько от его родственников и окружения он узнал и о тех мерах, которые в разное время употреблялись для воздействия на принца. Сначала это были попытки осведомить старого короля о забавах сына и добиться отцовского удержания. Действительно, когда то или другое с трудом дорвавшееся до королевского кабинета лицо в откровенных красках расписывало королю эти забавы, старик, побагровев и нервно запахиваясь в халат, выражал еще больший гнев, чем можно было надеяться. Он кричал, что положит конец, что чаша терпения (в которой бурно плескался утренний кофе) переполнена, что он счастлив услышать чистосердечный доклад, что кобеля он сошлет на полгода в *suurhellihs* (корабль-монастырь, плавучий скит), что... А когда аудиенция кончалась и удовлетворенный докладчик собирался откланяться, старый король, еще пытаясь, но уже успокоившись, с деловитым, конфиденциальным видом отводил его в сторону (хотя все равно они были одни) и говорил: «Да-да, я все это понимаю, все это так, но послушайте, – совершенно между нами, скажите, ведь если здраво подумать, – ведь мой Адульф – холостой, озорной, любит немножко покудесить, – стоит ли так горячиться, – ведь и мы сами были молоды...» Этот последний довод звучал, впрочем, довольно бессмысленно, так как далекая молодость короля протекла с млечной тихостью, а покойная королева, его супруга, до шестидесяти лет держала его в строгости необыкновенной. Это была, кстати сказать, удивительно упрямая, глупая и мелочная женщина, постоянно склонная к невинным, но чрезвычайно нелепым фантазиям, и весьма возможно, что именно из-за нее дворцовый и отчасти государственный бунт принял те особые, словами трудно определяемые черты, странно совмещающие в себе капризность и косность, бесхозяйственность и чинность тихого сумасшествия, которые так мучили нынешнего короля.

Второй по времени метод воздействия был значительно глубже: он заключался в созыве и укреплении общественных сил. На какое-либо сознательное участие простого народа рассчитывать не приходилось: среди островных пахарей, ткачей, булочников, плотников, ржечников, рыбаков и прочих превращение любого престолонаследника в любого

короля принималось так же покорно, как перемена погоды: простолюдин смотрел на зарю в кучевых тучах, качал головой... и всё; в его темном и мшистом мозгу всегда было отведено привычное место для привычной напасти, государственной или природной. Мелкота и медленность экономической жизни, оцепеневший уровень цен, давно утративших спасительную чувствительность (ту действенность, коей создается внезапная связь между пустой головой и пустым желудком), угрюмое постоянство небольших, но как раз достаточных урожаев, тайный договор между овощем и зерном, как бы условившихся пополнять друг друга и тем поддерживать равновесие, – все это, по мнению Гумма («Устои хозяйства и его застои»), держало народ в вялом повиновении, – а если тут было своего рода колдовство, это тем хуже для жертв его вязких чар. Кроме того, – и это особенно печалило светлые умы, – принц Дуля среди простого народа и мещанства (различие между которыми было так зыбко, что постоянно можно было наблюдать весьма загадочное возвращение обеспеченного сына лавочника к скромному мужицкому промыслу его деда) пользовался какой-то пакостной популярностью. Здоровый смех, неизменно сопровождавший разговоры о его проказах, препятствовал их осуждению: маска смеха прилипала к устам, и эту мимику одобрения уже нельзя было отличить от одобрения истинного. Чем гаже развлекался принц, тем гуще кричали, тем молодеватее и восторженнее хрюпали по сосновым стволам красными кулаками. Характерная подробность: когда однажды проездом (верхом, с сигарой во рту) через глухое село принц, заметив смазливую девчонку, предложил ее покатать и, несмотря на едва сдерживаемый почтением ужас ее родителей, умчался с ней на коне, а старый дед долго бежал по дороге, пока не упал в канаву, вся деревня, по донесению агентов, «восхищенно хохотала, поздравляла семью, наслаждалась предположениями и не поскупилась на озорные расспросы, когда спустя час девочка явилась, держа в одной руке сотенную бумажку, а в другой выпадша, подобранного на обратном пути из пустынной рощи».

В военных кругах недовольство против принца основано было не столько на соображениях общей морали и государственного престижа, сколько на прямой обиде, проистекавшей из его отношения к пуншу и пушкам. Сам король Гафон, в отличие от воинственного предшественника, уж на что был глубоко штатский старик, а все же с этим мирились: его полное непонимание военных дел искупалось пугливым к ним уважением. Сыну же гвардия не могла простить откровенную насмешку. Маневры, парады, толстощекая музыка, полковые пирушки с соблюдением колоритных обычаев и другие старательные развлечения маленькой островной армии ничего не возбуждали в сугубо художественной душе принца, кроме пренебрежительной скуки. Брожение, однако, не шло дальше беспорядочного ропота да, быть может, полночных клятв (в блеске свеч, чарок и шпаг), позабываемых утром. Таким образом, почин естественно принадлежал светлым умам общества, которых, к сожалению, было немного: зато этими противниками наследного принца были некоторые государственные, газетные и судебные мужи – люди почтенные, жилистые, пользовавшиеся большим, тайным и явным, влиянием. Иначе говоря, общественное мнение оказалось на высоте, и стремление к обузданию принца по мере развития его порочной деятельности стало почитаться признаком порядочности и ума. Оставалось только найти оружие. Увы, его-то и не было. Существовала печать, существовал парламент, но по законам конституции всякий

мало-мальски непочтительный выпад против члена королевского дома служил достаточным поводом к тому, чтобы газету прикончить или палату распустить. Единственная попытка расшевелить страну потерпела неудачу. Речь идет о знаменитом процессе доктора Онзе.

Этот процесс был чем-то беспримерным даже в беспримерных анналах островного суда. Человек, слывший праведником, лектор и писатель по гражданским и философским вопросам, личность настолько уважаемая, настолько известная строгостью взглядов и правил, настолько ослепительно чистая, что в сопоставлении с ней репутация всякого казалась пятнистой, был обвинен в разнообразных преступлениях против нравственности, защищался с неуклюжестью отчаяния и в конце концов принес повинную. В этом еще ничего необычного не было: мало ли какими фурункулами могут при рассмотрении оказаться сосцы добродетели! Необычайная и хитрая суть дела состояла в том, что обвинительный акт и показания свидетелей были верной копией всего того, в чем можно было обвинить наследного принца. Следует удивляться точности сведений, добытых для того, чтобы, ничего не прикрашивая и ничего не пропуская, вправить в подготовленную раму портрет в полный рост. Многое было так ново и так уточняло, так своеобразило общие места давно огрубевшей молвы, что сначала обыватели не признали оригинала. Но очень скоро ежедневные отчеты в газетах стали возбуждать в кое-что сообразившей стране ни с чем не сравнимый интерес, и люди, платившие до двадцати крон, чтобы попасть на заседание суда, уже не жалели пятисот и больше.

Первоначальная идея зародилась в недрах прокуратуры; ею увлекся старейший судья столицы; оставалось найти человека, достаточно чистого, чтобы не быть спутанным с прототипом процесса, достаточно умного, чтобы на суде не разыграть шута или кретина, а главное – достаточно преданного правому делу, чтобы отдать ему в жертву все, вынести чудовищную грязевую ванну и карьере променять на каторгу. Таких кандидатов не намечалось; заговорщикам, в большинстве случаев людям семейным и зажиточным, нравились все роли, кроме той, без которой нельзя было поставить пьесу. Положение уже казалось безысходным, когда однажды на собрание заговорщиков явился весь в черном доктор Онзе и, не садясь, заявил, что отдает себя в полное их распоряжение. Естественное нетерпение тотчас за него ухватиться как-то не дало им времени подивиться, а ведь на первый взгляд едва ли могло быть понятно, каким образом разреженная жизнь мыслителя совместилась с готовностью быть прикрученным к позорному столбу ради политической интриги. Впрочем, его случай не так уж редок. Постоянно занимаясь вопросами духа и к хрупчайшим отвлеченностям приспособлявая законы твердейших принципов, доктор Онзе не нашел возможным отказаться от личного применения того же метода, когда представился случай совершить бескорыстный и, вероятно, бессмысленный (то есть чистейший, а значит, все-таки отвлеченный) подвиг. При этом напомним, что доктор Онзе жертвовал кафедрой, кабинетной негой, продолжением ученых работ, словом, всем, чем вправе дорожить философ; отметим, что здоровье у него было неважное; подчеркнем, что, прежде чем разобраться в самом деле, ему пришлось посвятить три ночи изучению специальных трудов по вопросам, малоизвестным аскету; и добавим, что незадолго до принятия решения он как раз обручился со стареющей девушкой, после пяти лет немой любви,

в течение которых ее давний жених боролся с чахоткой в далекой Швейцарии, – покуда не угас, тем самым освободив ее от договора с состраданием.

Дело началось с жалобы этой поистине героической особы на доктора Онзе, будто бы завлекшего ее на свою тайную квартиру, «притон роскоши и разврата». Такая же точно жалоба (с единственной разницей, что квартира, под рукой снятая и обставленная заговорщиками, была не той, которая когда-то нанималась принцем для особых забав, а помещалась в доме напротив, чем сразу устанавливался признак полной зеркальности, отметившей весь процесс) была лет пятнадцать тому назад подана одной нерасторопной девицей, случайно не знавшей, что гуляка, посягнувший на ее честь, есть наследник престола, то есть лицо, ни при каких обстоятельствах не могущее быть привлеченным к судебной ответственности. Далее, многочисленные свидетели (иные из которых были нанярованы из бескорыстных приверженцев, а иные из платных агентов: первых не совсем хватило) дали свои показания, весьма талантливо составленные комиссией экспертов, среди которых был известный историк, два крупных литератора и опытные юристы. В этих показаниях деяния наследника развивались постепенно, с соблюдением истинного порядка времени, лишь несколько сокращенного против того, которое понадобилось принцу, чтобы так раздражить общество. Любовь вповалку, ура-ураизм, умыкание подростков и многие другие утехы подробно излагались в виде вопросов, обращенных к подсудимому, отвечавшему значительно более кратко. Изучив все дело с прилежностью и методичностью, присущими его уму, доктор Онзе, вовсе не думавший о театральном искусстве (в театр вообще не ходил), собственным ученым путем бессознательно дошел до прекрасного воплощения того типа преступника, длительное заперательство которого (рассчитанное в данном случае на то, чтобы хорошенько дать обвинению развиваться) питается противоречиями и поддерживается растерянным упрямством.

Все шло так, как было задумано; увы! вскоре выяснилось, что крамола сама не знала, на что именно надеялась. На раскрытие глаз народных? Но народ и так отлично знал номинальную цену принца. На переход морального возмущения в возмущение гражданское? Но ничто не указывало путей к такому воплощению. Или, может быть, вся затея должна была быть лишь одним звеном в целой цепи все более действенных обличений? Но тогда смелость и резкость маневра, придававшие ему неповторимый характер исключительности, тем самым обрывали на первом же звене цель, требовавшую прежде всего постепенности ковки.

Как бы то ни было, но печатание всех подробностей процесса только содействовало обогащению газет: их тираж так разросся, что в этой живительной тени иным находчивым лицам (например, Сиену) удалось наладить издание новых органов, преследующих те или иные цели, но сбыт которых был заранее обеспечен воспроизведением судебных отчетов. Число искренне возмущавшихся было ничтожно по сравнению с

толпой смакующих и любопытных. Народ читал и смеялся. Это публичное разбирательство воспринималось им как замечательная потеха, устроенная пройдохами. Фигура принца приобрела в его сознании черты полишинеля, которого, правда, хватает палкой по лакированной голове облезлый чорт, но который все же не перестает быть любимцем зевак, баловнем балаганов. Напротив, личность самоотверженного доктора не только не была оценена по достоинству, но возбуждала злорадное улюлюкание (к сожалению, подхваченное бульварной печатью), ибо его положение понималось народом как жалкая исполнительность продажного умника. Словом, та специфическая популярность, которой всегда пользовался принц, только увеличилась, и самые насмешливые догадки о том, каково ему читать о собственных проделках, все же носили отпечаток того добродушия, которым невольно поощряется чужое молодечество.

Знать, советники, двор и «дворцовые» члены пеплерхуса были взяты врасплох и, выжидательно присмирив, потеряли бесценный политический темп. Правда, за несколько дней до приговора депутатам королевского крыла удалось путем замысловатого подкопа (или подкупа) провести в пеплерхусе закон о запрещении газетам помещать судебные отчеты «бракоразводных и иных дел, могущих содержать соблазнительные детали», но так как по конституции ни один закон не мог вступить в силу до истечения сорока дней с момента его принятия (это называлось «беременность Фемиды»), у газет было время спокойно писать о процессе до самого его конца.

Сам принц отнесся к нему с полным равнодушием, выраженным притом столь естественно, что можно было сомневаться, понимает ли он, о ком в действительности речь. Так как ни одна черточка дела не могла ему быть незнакома, то приходится заключить, что, если ему не отшибло памяти, он отменно владел собой. Только раз его приближенным показалось, что тень раздражения мелькнула по его большому лицу. «Какая досада, – воскликнул принц. – Почему этот шалун не звал меня на свои посиделки? *Que de plaisirs perdus!*» [64] Что до короля, то хотя и он тоже вида не показывал, но, судя по тому, как он покашливал, складывая газету в ящик и снимая очки, да по тому, как часто запирался с тем или другим советником, вызванным в неурочный час, ясно было, что он сильно задет. Рассказывали, что во дни процесса он несколько раз с притворной непринужденностью предлагал сыну яхту, чтобы тот на ней совершил небольшое кругосветное путешествие, но принц хохотал и целовал отца в лысое темя. «Право же, голубчик, – повторял старик, – преславно на море. Возьмешь с собой винца, музыкантов...» – «*Hélas* [65], – отвечал принц, – качающийся горизонт развращает мою диафрагму».

Процесс подходил к концу. Защита ссылалась на молодость обвиняемого, на горячую кровь, на соблазны холостой жизни, – все это было грубоватой пародией на попустительство короля. Прокурор произнес звериной силы речь, переборщив и потребовав смертной казни. «Последнее слово» подсудимого внесло совсем неожиданную нотку. Истомленный долгим напряжением, измученный вынужденным барахтаньем в чужих мерзостях и невольно потрясенный громами обвинителя, бедный доктор вдруг сдал, нервы его дрогнули, и, после нескольких непонятных, слипшихся фраз, он каким-то новым, истерически ясным

голосом вдруг стал рассказывать, что однажды в молодости, выпив первый в жизни стакан хазеля, согласился пойти с товарищем в публичный дом, и только потому не пошел, что упал на улице в обморок. Это свежее и непредвиденное признание вызвало в зале долго не смолкавший смех, а прокурор, потеряв голову, попытался зажать рот подсудимому. Затем присяжные, молча покурив в отведенной им комнате, вернулись, и приговор был объявлен. Доктору Онзе предлагалось тринадцать с половиной лет каторжных работ.

Приговор был многословно одобрен печатью. При тайных свиданиях друзья жали руки мученику, прощаясь с ним... Но тут, впервые в жизни, неожиданно для всех и, может быть, для самого себя, старый Гафон поступил довольно остроумно: пользуясь своим неоспоримым правом, он доктора Онзе помиловал.

Итак, первый и второй способы воздействия на принца ни к чему, в сущности, не привели. Оставался третий – решительнейший и вернейший. Все, что говорилось в окружении Гумма, было исключительно направлено к тому, чтобы эту последнюю меру осуществить, хотя настоящее ее имя, по-видимому, не называлось: эвфемизмов у смерти достаточно. Кр., попавший в сложную конспиративную обстановку, не отдавал себе отчета в том, что происходит, и причиной этой слепоты была не только неопытность молодости; так вышло еще и потому, что, невольно (и совершенно ложно) считая себя зачинщиком (то есть вовсе не догадываясь, что он в действительности только почетный фигурант – или почетный заложник), Кр. никак не мог допустить мысль, что начатое им дело окончится кровью, – да дела в настоящем смысле и не было, ибо, с отвращением изучая жизнь принца, Кр. смутно полагал, что тем самым он уже совершает нечто важное и нужное, – и когда, с течением времени, ему несколько прискучили это изучение и постоянные разговоры все о том же, он, однако, принимал в них участие, добросовестно держался опостылевшей темы, все продолжая считать, что исполняет свой долг и содействует какой-то не очень ясной ему силе, которая в конце концов волшебным образом превратит невозможного принца в приемлемого наследника. Если и случалось ему думать, что хорошо бы Адульфа заставить просто отказаться от престола (а иносказания, вероятно употреблявшиеся заговорщиками, могли невзначай принять и такую форму), то этой мысли он, как ни странно, не доводил до конца – до себя. В продолжение почти двух лет, промеж университетских занятий постоянно общаясь с круглым Гуммом и его друзьями, он незаметно для себя запутался в очень тонкой и частой сети, – и, может быть, принудительная скука, им ощущавшаяся все яснее, была не простой неспособностью (впрочем, свойственной его природе) долго заниматься вещами, постепенно обрастающими покровом привычки, за которым он уже не различал лучей их страстного возрождения, а была намеренно измененным голосом подсознательного предупреждения. Между тем начатое задолго до его участия дело уже приближалось к своей красной развязке.

В холодный летний вечер он был приглашен на тайное собрание, и, так как в этом приглашении ничего необычного не было, он туда и явился. Правда, ему вспоминалось потом, с какой неохотой, с каким тяжелым ощущением навязанности он отправлялся на сходку; но с такими же чувствами он приходил и раньше. В большой, нетопленной и как бы

условно обставленной комнате (обои, камин, буфет с пыльным пивным рогом на полке – все казалось бутафорией) сидело человек двадцать мужчин, из которых он не знал и половины. Тут в первый раз он увидел доктора Онзе: мраморная лысина с впадиной посредине, густые светлые ресницы, мелкие рябины над бровями, рыжеватый оттенок скул, плотно сжатые губы, скруток фанатика и глаза рыбы. Застывшее выражение покорности и просветленной печали не украшало его неудачных черт. К нему обращались с подчеркнутым уважением. Все знали, что после процесса невеста с ним разошлась, сославшись на то, что вопреки рассудку она все продолжает видеть на лице несчастного след марких пороков, в которых он за другого признался. Она скрылась в дальнюю деревню, где всецело ушла в школьное дело, а сам доктор Онзе вскоре после события, которому это заседание предшествовало, удалился в небольшой монастырь.

Среди присутствующих Кр. еще отметил знаменитого юриста Шлисса, нескольких фрадских депутатов пеплерхуса, сына министра просвещения... На кожаном диване неудобно поместились три долговязых и мрачных офицера.

Свободный венский стул нашелся около окна, на подоконнике которого ютился маленький, особняком державшийся человек с простоватым лицом, вертевший в руках фуражку почтового ведомства. Кр., близко к нему сидевшего, поразили его громадные, грубо обутые ноги, совершенно не шедшие к его мелкой фигуре, так что получалось нечто вроде в упор снятой фотографии. Только потом он узнал, что этот человек был Сиен.

Сначала Кр. показалось, что собравшиеся занимаются все теми же разговорами, к которым он уже привык. Что-то в нем (опять – внутренний друг!) даже захотело с какой-то детской горячностью, чтобы это сборище не отличалось ото всех предыдущих. Но странный, противный жест Гумма, вдруг мимоходом положившего ему руку на плечо и загадочно кивнувшего, сдержанное, как бы замедленное звучание голосов, глаза офицеров, сидевших поодаль, заставили его насторожиться. Не прошло и двух минут, как он уже понимал, что в этой бутафорской комнате холодно разрабатывается уже решенное убийство принца.

Он почувствовал дуновение у висков и ту же, почти физическую, тошноту, которую однажды испытал на вечере у двоюродного брата. Поэтому, как молчаливый человечек на подоконнике взглянул на него (с любопытством, с насмешкой), Кр. понял, что его замешательство заметно. Он встал, и тогда все повернулись в его сторону, и ежом остриженный тяжелый, толстый человек, осыпанный перхотью и пеплом, говоривший в эту минуту (Кр. давно уже не слышал слов), осекся. Он подошел к Гумму, который выжидательно поднял треугольные брови. «Должен уйти, – сказал Кр., – мне нездоровится, – думаю, что мне лучше уйти». Он поклонился, кое-кто вежливо приподнялся, человечек на подоконнике, улыбаясь, закурил трубку. Приближаясь к двери, Кр. с кошмарным чувством думал о том, что она может быть нарисована, что ручка нарисована тоже, что отворить ее нельзя. Но вдруг она превратилась в настоящую дверь, и, сопровождаемый каким-то юношей со связкой ключей, тихо вышедшим в ночных туфлях из другой комнаты, он спустился по длинной и темной лестнице.

## Приложение

### Ранняя редакция «Solus Rex» и замысел романа

Архивный текст «Solus Rex» в целом незначительно отличается от напечатанного в последнем номере «Современных записок» отрывка [66], за исключением эпизода оргии у принца Адульфа. Редактор журнала выпустил два места: описание полового контакта принца с Ондриком в сцене вечеринки (с. 23) и упоминание «дурных женщин» в разговоре Кр. (как по шахматной нотации именуется этот «одинокый король») с опекуном.

Приглашенный Адульфом молодой Кр., не знаящий, что у принца вечеринка, оглядывает собравшееся общество, и среди незнакомых «дымчатых, сладостно длинных женщин», «художников с грязными ногтями» и «каких-то мальчишек портового пошиба» «Кр. вдруг узнал знаменитого молодого акробата, хмурого блондинчика с какой-то странной тихостью в движениях и поступи, точно выразительность его тела, столь удивительная на арене, была одеждой приглушена». В журнальной публикации Ондрик, которого принц призывает начать оргию, и знаменитый акробат – разные персонажи. В архивном же тексте (правленная рукой Набокова машинопись) это одно лицо. В журнале этот фрагмент изложен следующим образом:

Вдруг принц посмотрел на часы и обратился к молодому человеку, пившему в углу оранжад: «Ондрик, – проговорил он с озабоченным видом, – кажется, пора». Тот угрюмо облизнулся, поставил стакан и подошел к принцу.

«Сначала мне показалось, – рассказывал Кр., – что я сошел с ума, что у меня галлюцинация...» – больше всего его потрясла естественность процедуры (с. 22–23).

Двумя рядами отточий редактор отметил исключенный им фрагмент текста. Исключение второго фрагмента («что принц всего лишь хотел» и т. д.) не было отмечено. Набоков впоследствии восстановил оба места на полях своего экземпляра журнала, но, поскольку русское переиздание «Solus Rex» при его жизни не состоялось, эти вставки надолго остались недоступными исследователям. Набоков перевел их на

английский язык в 1971 году для своей публикации английской версии «Solus Rex», после чего они стали известны западному читателю. Восстановленные фрагменты впервые были воспроизведены нами в «Полном собрании рассказов» Набокова по следующему его собственноручному тексту на полях страницы журнала с редакторской купюрой:

Выпущенные строки читались так:

«Толстыми пальцами расстегнув ему панталоны, принц извлек всю розовую массу срамных частей и, выбрав главную, стал равномерно тереть ее глянцеви́тый стержень».

За этим следовало: «что принц всего лишь хотел путем некоторого режима помешать молодому другу тратить силы на дурных женщин» (изъято в связи с предыдущим пропуском) [67].

Однако в архивной машинописи «Solus Rex» [68] этот эпизод изложен иначе. Вместо неопределенного «молодого человека» принц обращается к «молодому акробату», а вместо короткого, в одно предложение, описания действий принца по отношению к Ондрику следует их более развернутое изложение:

Вдруг принц посмотрел на часы и обратился к молодому акробату, пившему в углу оранжад: «Ондрик, – проговорил он с озабоченным видом, – кажется, пора». Акробат угрюмо облизнулся, поставил стакан и подошел к принцу, который, продолжая толковать об интегральной гармонии, немедленно приступил к операции. При этом ни оператор, ни присутствующие, ни сам Ондрик, с коровьим равнодушием стоявший перед усевшимся принцем, на плечо которому рыжеволосая небрежно опустила бескровную руку, не выказали ни малейшего интереса к происходившему, словно это была обычная и даже несколько надоедливая вещь, периодически необходимая для здоровья мрачного акробата.

В этом изложении скабрезной сцены наиболее любопытно, на наш взгляд, замечание об «интегральной гармонии». Оно относится к разговору принца с неназванным по имени гостем, который за минуту до того «сел за рояль, беспорядочно ударил по клавишам, пародируя чью-то игру, тотчас встал опять, и между ним и принцем завязался спор о таланте какого-то третьего лица, – вероятно, автора оборванной мелодии <...>». Можно предположить, что принц (о котором известно, что он «знал толк в музыке»), в отличие от гостя, стоит за признание таланта этого нового композитора. За несколько дней до этой вечеринки, во время верховой прогулки, он поделился с Кр. представлениями о ценности своих разрозненных, случайных связей:

<...> но Боже мой, какой поднимается шум оттого, что я не придерживаюсь канонов распутства, а собираю мед повсюду, люблю все – и тюльпан, и простую травку, – потому что, видишь ли, – dokonчил принц, улыбаясь и щурясь, – я, собственно, ищу только дробь прекрасного, целое предоставляю добрым бургерам, а эта дробь может

найтись и в балерине и в грузчике, в пожилой красавице и в молодом всаднике (курсив мой).

По-видимому, и на похабной вечеринке принц продолжал развивать свои взгляды о ценности отрывочных резких ощущений, какие вызывает новая экспрессивная музыка, споря с гостем, державшимся мнения о главенстве гармонии и целостности впечатления (пародируя игру неизвестного композитора, он «беспорядочно ударил по клавишам»). Этот спор о музыке и интегральной (то есть стремящейся к единству, к целому, в отличие от дифференциальной, разрозненной или, говоря словами принца, раздробленной) гармонии несколько проясняет примечание Набокова к английскому переводу «Solus Rex». В нем он делает любопытное признание: «Принц Адульф, чья внешность, придуманная мной, почему-то напоминает С. П. Дягилева (1872–1929), остается одним из моих любимых персонажей в частном музее набитых ватой человеческих фигур, который имеется где-нибудь во владениях всякого благодарного писателя». С историей дягилевских «Русских сезонов» связан скандальный успех постановки в Париже балета «Весна священная» (1913) Игоря Стравинского, эксперименты которого в области атональной музыки не были приняты широкой публикой. Не случайно Адульф, оправдывая свое распутство, упоминает «балерину» и проявляет склонность к мужеложству (как и Дягилев). Вполне возможно, что, создавая эту сцену и вводя в нее эпизод со спором о классической музыкальной гармонии и новой атональной технике, Набоков мог подразумевать композитора и пианиста Стравинского или Сергея Прокофьева (еще одного модерниста–экспериментатора из окружения Дягилева, близкого друга Николаса Набокова, кузена писателя), музыка которых, и пианистическая техника в частности, вызвала бурные споры в 20-е и 30-е годы.

Более пространное изложение в архивном тексте непристойного эпизода сохраняет, в отличие от опубликованной версии, важную линию к предыдущему разговору принца с Кр. и шире характеризует образ и представления пестро образованного, но по природе своей грубого и бесплодного Адульфа. Неизвестно, по каким именно соображениям Набоков отказался от этой редакции сцены, введя вместо колоритного «акробата» безликого «молодого человека», которого он тем самым оставил безмянным. С точки зрения эмигрантской журнальной цензуры, ни короткий, ни длинный вариант не были приемлемы, публикация же английского перевода в 70-х годах позволяла Набокову восстановить первоначальную, более выразительную версию по тексту сохранившейся машинописи. Вероятнее всего, возникновение нового описания на полях «Современных записок» объясняется тем, что авторская машинопись этого сочинения не была найдена или проверена Набоковым к моменту начала работы над переводом, и поскольку он имел под рукой лишь журнальный текст с купюрами, он по памяти восстановил исключенный фрагмент, который и приобрел известный теперь лапидарный вид в русской и в переводной английской версиях. Это предположение подтверждается тем, что к своим русским вставкам на полях журнала Набоков добавил их частичный перевод на английский язык, а значит, занимался восстановлением текста во время обдумывания или подготовки английской версии этого сочинения. К тому же никаких следов поздних

пометок на самой архивной машинописи «Solus Rex» нет.

Вместе с тем замечание Набокова в его автокомментарии о том, что Адульф – один из его любимых персонажей, ведет к наблюдению более важному и широкому, чем поиски прототипических черт и раскрытие предмета музыкального спора в сцене вечеринки.

Первое такое наблюдение внимательный читатель сделает после того, как сопоставит две главы незавершенного романа и придет к заключению, что принц Адульф, этот дородный распутник с «маленькими гадкими усами», «красивыми глазами навывате», «всегда лоснящимися губами» и «темными, густыми, неприятно пахнущими и <...> слегка маслянистыми волосами», является преображенным сознанием художника Синеусова персонажем из другой, реалистичной части романа, «Ultima Thule», а именно старым петербургским знакомым Синеусова Адамом Ильичом Фальтером. Адам Ильич, этот удачливый делец с большими способностями к математике, искушает героя не островным колдовством и сладострастными образами, в отличие от принца, а разгадкой некой великой тайны жизни, с помощью которой Синеусов надеется снестись со своей умершей женой (как Кр. с помощью колдовства – воскресить погибшую Белинду, что следует из автокомментария Набокова). Кр. и Синеусов, как Адульф и Фальтер, – одни и те же лица в реалистическом и фантастическом планах романа, причем в сценах Кр. с Адульфом в «Solus Rex» время действия отнесено в прошлое в сравнении с «настоящим» Синеусова и Фальтера в «Ultima Thule»: воображая островное государство, в котором он станет королем, Синеусов переносится в пору своих студенческих лет (девятнадцатилетний Кр. описывается как «долговязый, сумрачный юноша»), соответственно «молодеет» и Фальтер в образе принца Адульфа.

В описании наружности и манеры Фальтера Набоков напирает на те же стороны, что и в описании Адульфа:

За годы разлуки со мной <...> он из бедного жилистого студента с живыми как ночь глазами <...> превратился в осанистого, довольно полного господина, сохранив при этом и живость взгляда, и красоту крупных рук, но только я бы никогда не узнал его со спины, так как вместо толстых, гладких, в скобку остриженных волос виднелась посреди черного пуха коричневая от загара плешь почти иезуитской формы <...>.

Упомянутое между прочим «экзотическое франтовство» Фальтера прямо соотнесено Набоковым с «не по-островному франтовским видом» Адульфа. Фальтер, бывший репетитор юного Синеусова, старше его, по-видимому, на столько же лет, на сколько Адульф старше Кр. И хотя Фальтер не маниакальный распутник, как принц Адульф, он тоже повеса: свое баснословное открытие он делает после посещения «небольшого женского общежития на Бульваре Взаимности». Кстати оказываются и рассуждения Адульфа о дробях и интегральной гармонии: Фальтер – талантливый математик, состоящий в переписке со шведским ученым – линия к исчезнувшему заказчику Синеусова: «Ты помнишь, не правда ли, этого странного шведа, или датчанина, или исландца, чорт его знает <...>».

После метаморфозы, приключившейся с Фальтером в результате открывшейся ему главной тайны мироздания, следует его новое описание, в котором Набоков акцентирует внимание на утрате им способности к обычному человеческому участию: «<...> любить кого-нибудь, жалеть, даже только самого себя, благоволить к чужой душе и ей сострадать при случае, посылить и привычно служить добру, хотя бы собственной пробы, – всему этому Фальтер совершенно разучился <...>». О принце Адульфе, в свою очередь, сообщается, что, несмотря на живость характера, «<...> блаженно сопя, теребя и пощипывая жизнь, он постоянно шел на то, чтобы причинить каким-то третьим душам, о существовании которых не помышлял, какое-то далеко превышающее размер его личности постороннее, почти потустороннее горе» (курсив мой). Душа Фальтера в результате его умозрительного открытия разъята, раздроблена, лишена человеческой гармонии чувств и рассудка, его вполне возможная связь с потусторонним волнует простых смертных, но не его самого. Он же в образе Адульфа знает что-то очень важное об истории и природе человеческих отношений, – и, нисколько не дорожа этим знанием, совершенно равнодушен к чужим горестям.

На зеркальность фигур и сюжетов в двух частях романа намекает, кроме прочего, рассказ о сфальсифицированном судебном процессе, в котором заговорщик Онзе (предполагал ли Набоков созвучие с «он же»?) становится олицетворением «пороков, в которых он за другого признался».

Помимо наружности и характеров, Фальтер и Адульф соотношены один с другим и по своему влиянию соответственно на Синеусова и Кр. (Следует отметить изобретательную переключку их имен, а также лат. *alter* – другой (из двух) в первом имени, намекающее на *alter ego* – другое я.) Причудливые рассуждения Адульфа о магическом начале власти и островном волшебстве, в которых Кр. находит выражение собственных неясных мыслей, призваны напомнить о тех блестящих парадоксах, коими Фальтер очаровывал Синеусова, обещая косвенным путем сообщить ему разгадку мироздания, которую его подопечный «не там и не так ищет». Причем одним из талантов Адульфа оказывается «<...> особого рода чутье, позволявшее ему угадывать лучшую приманку для всякого свежего слушателя». Свой логический поединок с Синеусовым Фальтер начинает с вопроса о том, где его жена, и на ответ, что она умерла, равнодушно замечает: «Что же, царствие ей небесное, – так, кажется, полагается в обществе говорить?» Рассказывая об островном волшебстве, Адульф питает глубокую веру Кр. в таинственные силы, о которых «в книгах <...> не сказано», а Фальтер, в свою очередь, угадав «лучшую приманку» для Синеусова, питает его надежду на обретение такой силы с помощью знания сущности вещей, которое несчастный вдовец мечтает выведать у своего бывшего репетитора вроде математической формулы. В новую встречу с Кр. Адульф завершает тему магии и волшебства, сказав, что теперь «сила чар, и народных, и королевских, как-то сдала, улетучилась, и наше отечественное волхование превратилось в пустое фокусничанье» (ср. мимоходное замечание в «Ultima Thule»: «народный эпос сублимирует лишь давние дела»). Схожим образом мысль о том, что Фальтер «шарлатан», посещает Синеусова, но слова Фальтера «Можно верить в поэзию полевого цветка или в силу денег», повторяющие шутивную

запись умирающей жены Синеусова о том, что она больше всего в жизни любит «стихи, полевые цветы и иностранные деньги» [69], доказывают если не факт его невероятного открытия, то по крайней мере, что он медиум, через которого умершая жена Синеусова пытается передать мужу сообщение.

Позднее примечание Набокова к «Solus Rex» о набитых ватой фигурах в доме писателя указывает на преемственность между Адульфом и соперником Гумберта Клером Куильти и обращает внимание читателя на сходное замечание в послесловии Набокова к американскому изданию «Лолиты» (1958):

«...» один из моих немногих близких друзей, прочитав «Лолиту», был искренно обеспокоен тем, что я (я!) живу «среди таких нудных людей», меж тем как единственное неудобство, которое я действительно испытываю, происходит от того, что живу в мастерской, среди неподшедших конечностей и недоделанных торсов [70].

В то же время обращение Синеусова в конце «Ultima Thule» к своей умершей жене: «Но все это не приближает меня к тебе, мой ангел. «...» Мой бранный состав – единственный, быть может, залог твоего идеального бытия: когда я скончаюсь, оно окончится тоже» – иными словами будет повторено много лет спустя в обращении Гумберта к Лолите в конце романа: «Но покуда у меня кровь играет еще в пишущей руке, ты остаешься столь же неотъемлемой, как я, частью благословенной материи мира, и я в состоянии сноситься с тобой, хотя я в Нью-Йорке, а ты в Аляске».

Прозрение Гумберта – то заключительное открытие его жизни, которое он делает в сцене свидания с беременной Лолитой, вдохновляет его на создание шедевра, которого ни Фальтер / Адульф, ни Куильти, лишенные высокой цели искусства, создать не могут. Достижение Гумберта сближает его с художником Синеусовым, продолжившим работу над иллюстрациями к поэме своего таинственного заказчика в силу той же потребности воскресить утраченное и приблизиться к потерянной возлюбленной: «ее призрачная беспредметная природа, отсутствие цели и вознаграждения, уводила меня в родственную область с той, в которой для меня пребываешь ты, моя призрачная цель «...»». И тем же королевским одиночеством художника и такой же утратой вдохновлен Федор Годунов–Чердынцев, потерявший в Париже Зину Мерц и сочиняющий после этого продолжение пушкинской «Русалки» в другом незавершенном романе – второй части «Дара».

Персонажи «Ultima Thule»

Художник Синеусов («вот художник Синеусов, на днях потерявший жену»);

Его жена («Ты»; «тотчас после твоей смерти я выбежал из санатория»);

Адам Ильич Фальтер («каким я его помнил по нашим урокам юности <...> с тех пор прошло почти четверть века»);

Его зять («интеллигентный человек в темном партикулярном платье»; «г-н Л.» в английском переводе);

Его сестра («Элеонора Л.» в английском переводе; «рослая, молчаливая женщина»);

Известный писатель («оранжево-загорелый блондин», автор поэмы «Ultima Thule»; заказчик Синеусова, отбывший в Америку);

Итальянский психиатр («д-р Бономини» в англ. переводе; автор «Героики Безумия», умерший во время сеанса с Фальтером);

М-сье Раон (хозяин гостиницы).

Персонажи «Solus Rex»

Дмитрий Николаевич Синеусов («Так, между прочим, думалось несвободному художнику, Дмитрию Николаевичу Синеусову»);

Кр. («Нынешний король <...> обозначим его по-шахматному»);

Белинда (королева, не появляется; «ночные, особенные размышления у камина, а немного позже близость с Белиндой, достаточно заполняли его существование»);

Адульф («принц Дуля»);

Король Гафон (дядя Кр.);

Граф-опекун («малопривлекательный граф», «расчетливый и неторопливый», главный заговорщик);

Его «энергичная жена»;

Фрей («дряхлый конвахер»);

Готсен (министр двора);

Профессор фен Скунк («утверждавший, что деторождение не что иное, как болезнь»);

Ондрик («Ondrik Guldving» в английском переводе);

Знаменитый молодой акробат (в архивной редакции этого отрывка романа акробат и Ондрик – одно лицо);

Гость вечеринки, споривший с принцем («Мужчина с красивой, но искаженной тиком внешностью»);

«Рыжая» (участница оргии);

Гумм (известный экономист, заговорщик);

Шлисс (юрист, заговорщик);

Д-р Онзе (философ, заговорщик);

Сиен (издатель, заговорщик);

Прокурор (один из зачинщиков судебного процесса);

Старейший судья столицы (один из зачинщиков судебного процесса);

Перельмон (гениальный скрипач);

Сановник-клерикал;

Сын министра просвещения (заговорщик).

Текстологическое замечание

В публикации «Ultima Thule» в «Новом журнале» (1942) Фальтер отзывается об итальянском докторе так: «Но после случая с моим прелэстным врачом у меня нет ни малейшей охоты возиться опять с полицией» (с. 66). В сборнике рассказов Набокова «Весна в Фиальте», выпущенном издательством «Ардис» (1978), слово «прелестным» набрано без разрядки и без ироничного «э» (с. 298). Однако в недатированном письме Набокова к Алданову первый указывает на два места в тексте: «На гранке 37 выпало несколько строк (одна из коих французская), но истина глагол<е>т иногда устами наборщиков, и я этих строк не восстановил, оставим так. <...> Еще важнее буква “э” в слове “прелэстным” <...> пожалуйста, последите, чтобы все это вставили!»[71]. Имеются в виду следующие выпавшие строки (печатающиеся ныне во всех изданиях, следующих ардисовскому):

Êtes-vous tout à fait certain, docteur, que la science ne connaît pas de ces cas exeptionnels où l'enfant naît dans la tombe? И сон, который я видел: будто этот чесночный доктор (он же не то Фальтер, не то Александр Васильевич) необыкновенно охотно отвечал, что да, как же, это бывает, и таких (т. е. посмертно рожденных) зовут трупсиками.

Следовательно, в ардисовском издании был использован тот текст произведения, который был подготовлен для «Нового журнала» и который не отражал более поздние авторские изменения, сделанные на стадии подготовки гранок. В английском переводе «Ultima Thule», подготовленном в 1971 году, приведенная французская фраза и следующий за ней текст о сновидении восстановлены, из чего можно заключить, что Набоков в 1971 году либо вернулся к прежней редакции

своего сочинения, либо к тому времени забыл о своем решении 1942 года относительно этого места. К последнему мнению склоняет то обстоятельство, что выражение «прелэстным врачом» в английском переводе передано нейтральным «charming doctor».

Андрей Бабилов

## Примечания

1

Набоков В. Лолита. М.: АСТ: Corpus, 2021. С. 514. (Здесь и далее – прим. ред.)

2

Library of Congress / Manuscript Division / Vladimir Nabokov papers. Box 1. Folder 38.

3

Nabokov V. Selected Letters. 1940–1977 / Ed. by D. Nabokov and M. J. Bruccoli. San Diego et al.: Harcourt Brace Jovanovich, 1989. P. 282–283. Пер. ред.

4

Field A. Nabokov. His Life in Art. Boston – Toronto: Little, Brown and Company, 1967. P. 328–329.

5

Вейдле В. Набоков. Первая «Лолита» // Русская мысль. 1977. № 3184. 29 декабря. С. 9. Цит. по: В. В. Набоков: pro et contra. Антология. Т. 2 / Сост. Б. В. Аверин. СПб.: РХГИ, 2001. С. 865–867.

6

Редактор благодарит Вадима Алексеевича Маневича, любезно предоставившего для сверки текстов копию первой журнальной публикации повести.

7

Именно так, Севастьяном или Севастианом, Набоков несколько раз по-русски называет своего героя и – сокращенно – роман в письмах к жене.

8

Переписка И. А. Бунина и Н. Н. Берберовой (1927–1946) / Публ. М. Шраера, Я. Клоца и Р. Дэвиса // Иван Бунин. Новые материалы. Вып. II / Сост. О. Коростелев и Р. Дэвис. М.: Русский путь, 2010. С. 53.

9

Цит. по: Набоков В. Переписка с Михаилом Карповичем (1933–1959) / Предисл., сост., примеч. А. А. Бабилова. М.: Литературный факт, 2018. С. 29–30.

10

Там же. С. 30. 3 января 1942 г. Набоков послал Алданову из Уэльсли следующую расписку: «Получил от М. А. Алданова за “Ultima Thule”, напечатанное в New Review, 28 долларов. Wellesley, 3–I–42. В. Набоков» (Columbia University / The Rare Book and Manuscript Library / Bakhtmeteff Archive / M. A. Aldanov papers).

11

Набоков В. Весна в Фиальте и другие рассказы. Издательство имени Чехова. Нью-Йорк, 1956. С. 313.

12

В. В. Сирин–Набоков в Нью Йорке чувствует себя «своим» [Интервью Николаю Аллу] // Новое русское слово (Нью-Йорк). 1940. 23 июня. С. 6.

13

Цит. по: Набоков В. Полное собрание рассказов / Сост., примеч. А. Бабикова. СПб.: Азбука, 2016. С. 737.

14

Черновые наброски нескольких глав продолжения «Дара» опубликованы в издании: Бабиков А. Прочтение Набокова. Изыскания и материалы. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2019. С. 358–388.

15

Дополнительные материалы см. в Приложении.

16

В машинописи ошибочно: Эвфратский (вероятно, под влиянием слова эдемский).

17

Инкубы (от лат. *incubare* – ложиться на) – в средневековой европейской мифологии мужские демоны, домогающиеся женской любви, в противоположность женским демонам – суккубам (от лат. *succubare* –

ложиться под), соблазняющим мужчин.

18

Луч, исходящий из вершины угла и делящий его пополам.

19

Пеклеванный хлеб – испеченный из пеклеванной муки, ситной и ржаной.

20

Волк одиночка (обл.).

21

Это сравнение Набоков разовьет затем в нереализованном продолжении «Дара» («Пауза. Комментируя деталь происшедшего, она сказала со смешком: “Ну и смышлен (malin) был тот, кто изобрел этот фокус (ce truc-là)”») и в «Лолите»: «Il était malin, celui qui a inventé ce truc-là» («Хитер был тот, кто изобрел этот фокус». I, 6).

22

Помещение для караула, охраняющего крепостные ворота.

23

Немедленно (англ. at once).

24

И тотчас (фр. et tout de suite).

25

Впервые: Nabokov V. *A Russian Beauty and Other Stories*, 1973.  
Перевод выполнен по изданию: *The Stories of Vladimir Nabokov*. N. Y.:  
Vintage, 2008. P. 679–680.

26

В настоящем издании эта сцена восстановлена по русским рукописным  
вставкам Набокова на страницах номера «Современных записок».

27

«If the King is the only Black man on the board, the problem is said  
to be of the “Solus Rex” variety» (Blackburne S. S. *Terms and Themes  
of Chess Problems*. London: George Routledge & Sons, 1907. P. 31).  
Ср. паронимазю в названии этой книги, а также: Miles John A. *Poems  
and Chess Problems* (1882) с заглавием сб. стихов и шахматных задач  
Набокова «*Poems and Problems*» (1969).

28

Пер. ред.

29

Крайняя Фула (лат.) – в средневековой географии – любое отдаленное  
место, «за границами изведенного мира».

30

Quack – шарлатан, мошенник, знахарь.

31

Вполне ли вы уверены, доктор, что науке неизвестны такие исключительные случаи, когда ребенок рождается в могиле? (Фр.)

32

Краевич Константин Дмитриевич (1833–1892) – выдающийся педагог, физик, автор широко известных в Российской империи учебников физики, алгебры и космографии.

33

Набоков привел этот русско–французский каламбур в письме к Э. Уилсону от 18 сентября 1941 г.: «“поварь вашъ Илья на боку” = “rauvres vaches, il y en a beaucoup”» (бедные коровы, их много).

34

Жемчужно–серый цвет (от фр. gris de perle).

35

Старый способ транслитерации англ. слова hall.

36

Понятие, характерное для философии А. Шопенгауэра, положения которой Адольф Гитлер использовал в своей политической риторике, ср.: «Воля – это нечто первое и основное, познание же просто привходит к явлению воли и служит орудием. Поэтому всякий человек есть то, что он есть в силу своей воли, и его характер – это нечто изначальное...» (Мир как воля и представление. Кн. IV, § 55. Пер. Ю. Айхенвальда).

37

Паон, хозяин гостиницы (фр.).

38

Отец (фр.).

39

Увлекающий, возбуждающий, сильно действующий.

40

Так в первой (журнальной) публикации; в сб. «Весна в Фиальте», по-видимому, ошибочно: стыдливое желание.

41

Салонные игры (фр. *petits jeux*).

42

Здесь: карандашным эскизом (фр.).

43

Правильное название этого африканского озера Виктория–Ньянза. В журнальной публикации: истреблять антилоп на всех островках Виктории Ньянджи.

44

Дорогой господин (фр. cher monsieur).

45

Хорошо (фр.).

46

В журнальной публикации: живопись.

47

Здесь: сделайте одолжение (фр.).

48

В журнальной публикации: откройте мне всё.

49

Имеется в виду парадокс К. Греллинга – Л. Нельсона (1908), для формулирования которого вводятся два вида прилагательных: автологичные и гетерологичные. Первые обладают тем свойством, которое обозначают (например, прилагательное «русскоязычный» само является русскоязычным), вторые нет (например, «новый» не является новым). Парадокс вытекает из вопроса: к какой группе относится само прилагательное «гетерологичный»? Если оно гетерологично, то обладает обозначаемым им свойством и является, следовательно, также автологичным, что невозможно. Таким образом, прилагательное «гетерологичный» не может быть отнесено ни к одной из двух групп, и, следовательно, само разделение прилагательных на две эти группы некорректно.

50

Подсчитаны только дождливые дни, коих, как указано, 306 в году.

Общее число дней за пять лет – 1826; в английском переводе ошибка или опечатка: «826 days».

51

Низина, болото (устар.).

52

Запряжкой лошадей в цуг: гуськом или в две–три пары одна за другой.

53

От голл. konvoier (конвоир, сопровождающий) и нем. Wächter (ночной сторож, дежурный).

54

Гараж (фр.). В английском переводе: RENAULT.

55

В английском переводе: ven Skunk.

56

С укорененной и естественной магией (фр.).

57

Он лжет (фр.).

58

Этот дурацкий предмет (фр.).

59

А мой милейший папаша, знаешь ли, питает истинную страсть к найденным вещам (фр.).

60

Если только ты не путаешь галантность с Галатеей (фр.).

61

Которые всегда настороже (фр.).

62

Выпущенные в журнальной публикации (на с. 23) строки восстановлены по поздней рукописной вставке Набокова на страницах принадлежавшего ему экземпляра журнала. Исходный вариант в машинописном оригинале главы см. в Приложении.

63

Это место, после слова «суждение», также было выпущено в журнальной публикации; восстановлено по рукописной вставке Набокова.

64

Сколько потерянных удовольствий! (Фр.)

65

Увы (фр.).

66

В. Сиринь. Solus Rex. Романь. С. 5–36.

67

Экземпляр «Современных записок» в собрании набоковских книг и периодики компании «Glenn Horowitz Bookseller» (Нью-Йорк), возможностью ознакомиться с которым, как и с другими автографами Набокова, я обязан Саре Функе.

68

Озаглавленной как в «Современных записках»: «Solus Rex. Романъ»; 38 страниц с чернильными рукописными исправлениями и добавлениями (нью-йоркский архив Набокова).

69

Наблюдение Д. Джонсона, см.: Джонсон Д. Б. Миры и антимиры Владимира Набокова. СПб.: Симпозиум, 2011. С. 277–280.

70

Набоков В. Лолита. М.: АСТ: Corpus, 2021. С. 523.

71

Columbia University / The Rare Book and Manuscript Library / Bakhmeteff Archive of Russian and East European Culture / Mark Alexandrovich Aldanov papers.